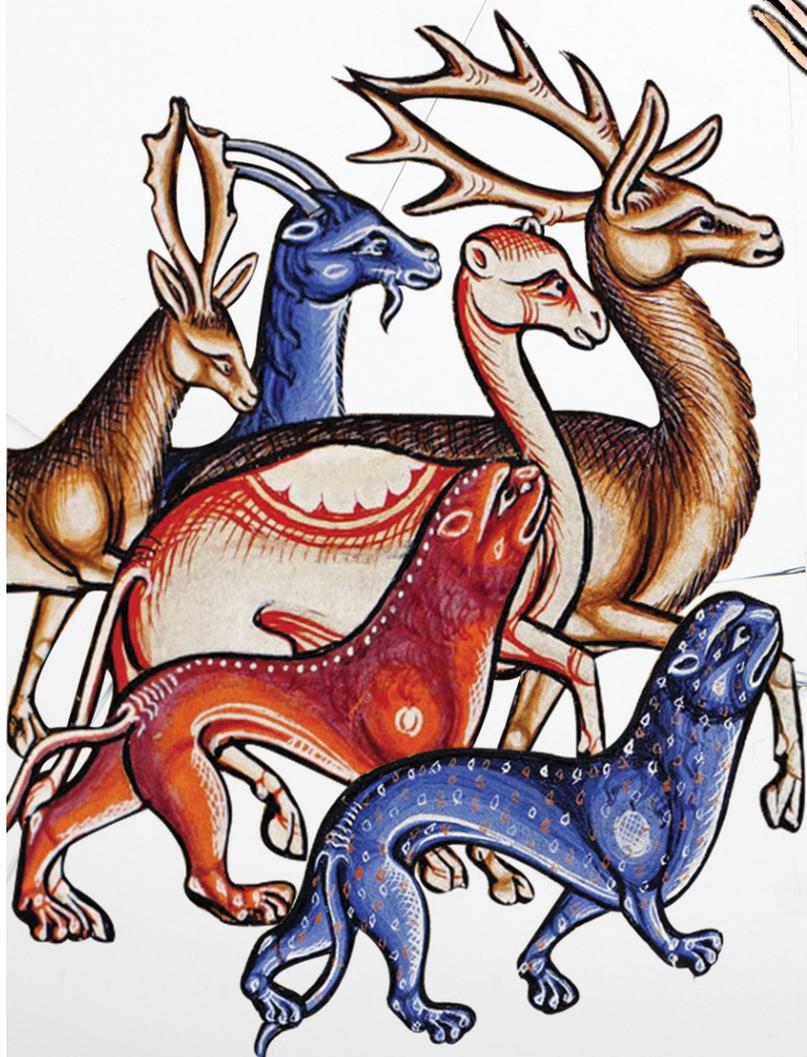


Линор Горалик

18+

Все, способные дышать дыхание



Линор Горалик

Все, способные дышать дыхание

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Горалик Л.

Все, способные дышать дыхание / Л. Горалик — «Издательство АСТ», 2019

ISBN 978-5-17-112269-0

Когда в стране произошла трагедия, «асон», когда разрушены города и не хватает маленьких желтых таблеток, помогающих от изнурительной «радужной болезни» с ее постоянной головной болью, когда страна впервые проиграла войну на своей территории, когда никто не может оказать ей помощь, как ни старается, когда, наконец, в любой момент может приползти из пустыни «буша-вэ-хирпа» — «стыд-и-позор», слоистая буря, обдирающая кожу и вызывающая у человека стыд за собственное существование на земле, — кому может быть дело до собак и попугаев, кошек и фалабелл, верблюдов и бершевских гребнепалых ящериц? Никому — если бы кошка не подходила к тебе, не смотрела бы тебе в глаза радужными глазами и не говорила: «Голова, болит голова». Это асон, пятый его признак — животные Израйля заговорили. Они не стали, как в сказках, умными, рациональными, просвещенными (или стали?) — они просто могут сказать: «Голова, болит голова» или «Я тебя не люблю», — и это меняет все. Автор романа «Все, способные дышать дыхание», писатель Линор Горалик, говорит, что главным героем ее книги следует считать эмпатию. Если это правда, то асон готовит эмпатии испытания, которые могут оказаться ей не по силам. Книга содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-112269-0

© Горалик Л., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

1. Раёк	7
2. Дрожь	12
3. Ээээээээ	20
4. «Вики»	23
5. Ссученный	30
6. Мачеха	32
7. Тоже	43
8. Коронный номер	44
9. «Лапка-башка»	46
10. Дизартрия – это...	49
11. Хипстотааааа	53
12. Стена	55
13. Длинный, короткий	56
14. Мекадем[27]	58
15. Мимими	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Линор Горалик

Все, способные дышать дыхание

* * *

© Линор Горалик, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2018

1. Раёк

Покачиваясь, я боком двигался сквозь влажную, липкую жару между двумя рядами неприветливых пустых сидений; я шел к туалету в самом конце узкого помещения, и с каждым шагом все пристальнее разглядывал собственные пальцы. Муха пролетела у меня над ладонью, не отклоняясь от своей траектории, словно я и сам был просто сгустком липкого влажного воздуха. Это так испугало меня, что я остановился и почти всерьез попытался заставить свой левый безымянный палец удлиниться на пару сантиметров. Я напрягся весь, согнулся и почувствовал, как складки живота норовят и в самом деле слипнуться по причинам, не имеющим никакого отношения к жаре. Внезапно меня охватила брезгливость к собственному телу – но не та испуганная, внезапная брезгливость, которая приходит в ночном кошмаре (голый, ты идешь по раскачивающемуся вагону; справа и слева нет никого, но в любую секунду лавки могут заполниться бездельными людьми, для которых не существует лучшего занятия, чем молча смотреть на твой позор, – вправо, влево, вправо, влево). Палец мой, конечно, сохранил свою явственно неполноценную длину, как я ни напрягал пресс. С год назад я сказал Еремею: «Иногда во сне мне ясно, что я сплю». Он посоветовал сосредотачиваться в такие моменты на каком-нибудь простом изъяне моей руки – кривом ногте, родинке с дурным волосом, твердом, как заноза, заусенце – и пытаться выправить этот изъян. «Начнет удаваться это, – говорил мне Еремей, скрипя соседней раскладушкой и почесывая ранний старческий пух на голове, – начнешь быстро делать там другое, метлу в бабу или сиськи вырастить себе, помазать просто так». Он знал про контролируемые сны от отца, модного телевизионного эзотерика, милого и по-юношески волосатого человека: единственный раз, когда я видел их вместе, в родительский день на курсе молодого бойца, Ермиягу-старший, как мне показалось, старался не задеть случайно головы сына – обнимал его и охлопывал от талии к плечам, а потом обратно, после чего опять начинал двигаться ладонями вниз, удаляясь от опасной зоны. Что до снов, то мне не хотелось мацать ничего прямо на себе, а до метаморфоз метлы дело не доходило: один раз плохо прорисованный куст на периферии зрения показался мне подходящим объектом для трансформации, я напрягся и привел его в состояние какого-то кубического месива с торчащим к небу огромным соском, после чего проснулся в страхе и омерзении. Обычно я понимал, что сплю и вижу сон, когда чрезвычайно быстро летел над тротуаром. Тогда я старался замереть на месте (иногда для этого приходилось безболезненно врезаться во что-нибудь, не заслуживающее осознания) и вытягивал короткий и кривой средний палец до нормальной длины – и еще дальше: вялое телескопическое щупальце. Сейчас я не летел, а шел бочком, и кривой палец не поддавался никакому усилию («Усрешься еще», – презрительно сказал мне голос, явно несоместимый с пространством сна), и я чувствовал себя идиотом, вообразившим, что этот шаткий голый путь по узкому пустому лекторию мог быть паровозным кошмаром. Я пошел быстрее, больно шоркнул ногой о боковину одной из деревянных скамеек, пришел наконец в туалет – и, сидя на унитазе, слизнул с колена мелкий кровяной пунктир, как делал в детстве, и почмякал им, чтобы лишний раз изумиться, насколько это похоже на вкус ключа от папиного секретера. Как и во всем зоопарке, тут почему-то не работал кран – но исправно функционировал сливной бачок. Я намотал на руку побольше туалетной бумаги, дернул ручку, намочил бумагу в бурлящей струе, стараясь не касаться потрескавшегося фаянса, и старательно вытер себе живот. Не зная, какая бумага нужна Адамас, сухая или мокрая (мне казалось – сухая), я пропитал еще один отмот до чавкающего состояния, а остальной рулон прихватил с собой. Когда я боком приполз обратно, в начало экспозиции, Адамас успела одеться; стоя перед ней с текущей бумагой в одной руке и с сухим рулоном в другой, я вдруг остро застеснялся собственной наготы. С тактом, который мне уже довелось оценить, она взяла у меня мокрую бумагу и протерла лицо, а потом аккуратно положила использованную протирку на толстое стекло ближайшего террари-

ума. Гигантский жук с оленьими рогами, разбуженный внезапной темнотой, молча уставился на нас, сделал несколько слабых шагов и снова лег. «Голодный», – сказала Адамс с интонацией, которую я не мог разобрать. Я воспользовался поводом поднять с пола рубашку – в кармане у меня лежала половина батончика из сухпайка; серебристая обертка без единого печатного слова заскользила по растопленному шоколаду, как кожа по куску вареной курицы. «Бессмысленно, – сказала Адамс. – Нет ключа». Жук снова приподнялся, медленно, с дрожью взобрался на кусок коряги и уперся острым рогом в замок под самой крышкой, и от этой жалкой пародии на попытку к бегству меня передернуло. «До этих точно никому дела нет», – сказала Адамс, закручивая на голове неаккуратный сноп и прихватывая его широкой заколкой. Я сказал, что, может быть, за самыми ценными насекомыми кто-то приглядывает. «Павлины во сне за ними приглядывают, – сказала Адамс. – Спят и видят. Выпустили бы сразу на съедение, чего мучить». «Может быть, их забыли», – сказал я. Адамс посмотрела на меня и прошла мимо нескольких террариумов (я не знал другого слова для этих стеклянных ящиков и никогда не узнал). Она легонько стучала в каждый обручальным кольцом, и я понял, что это – еще одно проявление той прохладной вежливости, благодаря которой мы сейчас оказались здесь: я подал реплику, она демонстрирует интерес; и я снова почувствовал неприязнь к этой вежливой женщине и устыдился этой неприязни. Я и сам был сейчас прилежно вежлив, мы оба чувствовали себя людьми, достойно выполнившими важную светскую обязанность. Скажем, приближается вокзал, за окошком плывет край перрона, руки заползают в рукава плаща, и взаимная благодарность за то, что поездка прошла без особых неловкостей, на миг представляется порывом к дружбе. Лживое чувство; но вот вам моя карточка, а мне ваша, не будем же звонить друг другу. Я предложил ей обойти патрулем северную часть зоопарка; экспонатов оставалось мало, нас было и того меньше, она согласилась с излишним энтузиазмом, мы оба хотели прополоскать напоследок рот незначительной болтовней.

Ее муж участвовал в одной из тех тридцати с лишним позорно окончившихся стычек, которые впоследствии будут, видимо, называться «Битвой за Ашкелон», «Ашкелонской трагедией», Ашкелонским... котлом? Кастрюлей? Крышкой? Сейчас этот человек, однажды виденный мною сквозь стекло проглотившей Адамс машины, находился, судя по всему, в «Сороке», состояние его считалось «средней тяжести, но стабильным». Более внятного ответа Адамс не удавалось добиться; была какая-то операция; «Какая? В каком месте? Где на теле?» «Приезжайте». Ходили истории о том, как среди безумия этих дней больных путали друг с другом, перегруженная система задыхалась, и родственники то получали сообщения, что погиб еще живой, то узнавали об ампутации руки, когда человек лишился глаза, а один из наших ребят выяснил, как-то дозвонившись матери, что его брата приняли за ординарца, потому что он забрел в служебное помещение и прилег там на диван; ему не оказывали помощь, пока он не потерял сознание и не скатился с дивана на пол; впрочем, все, насколько я понял, закончилось неплохо.

Адамс не распространялась о состоянии мужа, но подала заявление на короткую увольнительную – после того как наш гдуд¹ все-таки заберут отсюда. Увольнительную подписали: в любом случае было неясно, что с нами делать дальше. Вчера говорили, что вертолет прилетит сегодня в четыре; потом Адамс сообщила нам, что вертолет будет завтра к ночи, и объявила сегодняшним днем выходным, назначив сменяющиеся патрули. Сейчас у меня было устойчивое впечатление, что обстоятельства изменились, вертолет откладывается, но я не чувствовал за собой права задавать Адамс внестроевые вопросы. Почему-то я решил для себя, что речь теперь идет о пятнице. Сегодня был понедельник, солнце лапало узловатые колени иудина дерева, павлин вдруг выскочил из-за араукарии и посмотрел на Адамс строгим куриным взглядом, и под этим взглядом она поправила ремень автомата, туго лежащий между грудей. Рай был над нами,

¹ Отряд (военн., ивр.).

под нами и вокруг нас; и было утро, и – с Божьей помощью – предстоял вечер, день шестой. Я молча последовал за павлином, мне хотелось понять, где у него гнездо, – павлины еще до всех этих дел ходили по зоопарку вольно, как кошки ходят по городу, но я был уверен, что у всякой птицы где-нибудь да есть гнездо, и отправился следом за павлином, как хотел сделать еще со второго класса, со времен очень жаркой и слишком медленной школьной экскурсии. Я прошел сквозь стену цветущих адмумов² и тут же, охнув, схватился за их ветви, как распятый: перед (под) ногами у меня была огромная сухая воронка, полная горелого лома. Павлин слился вниз по широкой томительной спирали, а я увидел, что по ту сторону воронки среди разводов горелого хаки лежит Нбози: пятно травы под ним было изумрудного цвета, а гипс у него на ноге покрылся грязно-зеленой коростой. Привалившись спиной к железной ограде, в которой взрыв проделал приветливо изогнутую калитку, Нбози медленно водил губами, словно размышлял, окликнуть меня или нет; я понимал, что он просто что-то жует, – он всегда что-то жевал. Я помахал ему, он лениво склонил голову. Я вновь прошел сквозь зеленую стену, теперь в обратном направлении. Адас, локтем удерживая автомат, что-то поправляла, засунув руку в штаны (я не без злорадства вспомнил о туалетной бумаге), но при виде меня немедленно упорядочилась. Вместе мы просочились из негорелого мира в горелый, и ее первый шаг, конечно, твердо лег на край воронки, и она, ни разу не взглянув себе под ноги, двинулась в обход, а я шел за ней, замечая, что шагает она широковато; но все, чему положено было утрястись, в конце концов, видимо, утряслось, так что к Нбози Адас приблизилась разбитным офицерским шагом и слегка ткнула его в бедро ботинком.

– Хамштво, – сказал Нбози, чуть не выронив свое жевалово изо рта. На длинной нижней губе у него показалась зеленая капля, он подобрал ее языком, я отвернулся.

– Отдал бы честь кцине³, молодой человек, – сказал я, садясь на траву.

– Так она ш не моя кцина, – сказал Нбози и поглядел на груди Адас, торчащие по обе стороны от автоматного ремня. Она стояла, расставив ноги; темный круг у нее под мышкой стал заметнее, когда она подняла руку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Нбози посмотрел на это пятно и сказал, не переставая жевать губами: – Да вы сношались.

Я уставился долу и увидел несколько муравьиных трупиков, маленьких и сухих. Их повсюду носило ветром – тельца муравьев, каких-то длиненьких жучков, еще кого-то, явно не имеющего особой ценности. Адас на правах старшего по званию показала Нбози средний палец, и Нбози довольно хрюкнул.

– Как было? – поинтересовался он, уронив с губы зеленую каплю. Я понял, что рот его набит обыкновенной травой.

– Как в раю, – сказала Адас, закатывая глаза и садясь в сожженную траву, – как в сраном раечке. Солнце, природа, сдохший кондиционер, М-16. Все, что я люблю.

– Пахнет от тебя этим самым, – сказал Нбози, потянув воздух, и она быстро сдвинула ноги, и я вдруг снова подумал о ней с неприязнью: воспользоваться при мне влажным моим приношением, серой туалетной бумагой было для нее слишком интимно, мне же, кроме уставной вежливости, ничего не полагалось.

– От тебя вот навозом пахнет, – сказал я Нбози, чтобы что-нибудь сказать.

– А тсем от меня дожно пахнуть – цветоцком? – ответил он с неожиданной равнодушной ленью, словно пикировка вдруг совершенно перестала его интересовать, но не из-за моего вопроса, а раньше, в какой-то не замеченный мною, но важный для него момент. Слова у него получались медленные, с прилепетыванием, и я старался не думать о том, как они ворочаются в его слюнявом рту.

² Холмскиолдия кровавокрасная (ивр.).

³ Офицер-женщина (ивр.).

– Что колено? – спросил я. День вежливости, день любви и милости к ближнему определенно выдался у меня.

– Коле-е-но, – сказал он, глядя на Ада, на ее сдвинутые колени, которые она теперь неловко обнимала руками.

– Что колено? – повторил я.

Дальше я как-то внезапно откатился и оказался на ногах, руки мои вращались, как мельничные крылья, пока я пытался удержаться на краю воронки, а грохот цепи, которой Нбози был прикован к ограде, слился у меня в ушах с яростным матом Ада, и в короткий момент, когда эти звуки вдруг слились, мне послышалось слово «зангвиль», которого, естественно, никто не произносил.

Я качался в воздухе, как ветка, за спиной у меня была воронка, а перед самым лицом, в нескольких сантиметрах от лица – загипсованная левая передняя нога Нбози, и его раздвоенное копыто казалось мне изуродованным двупалым кулаком. Я видел, что Ада, вскинув автомат, орет на Нбози сухим высоким голосом, но не слышал ее слов, а слышал только его, он тоже орал, он орал: «Где она, скоты? – и орал: – Ублюдки, что с моей зеной? – и: – Где Нтомби, козлы, твалли, где моя зена? Я хочу видеть свою зену, я хочу поговорить с ветелл-наллом, гады, где моя зена, почему со мной не говорит ветелл-налл, я хочу, чтобы мне plainly сказали, что с моей зеной, вонючие скоты!» Я махал руками, копыто дергалось у меня перед лицом, я заваливался назад и вдруг представил себе, что падение мое убьет павлина, сидящего в гнезде на яйцах, и это было чрезвычайно, чрезвычайно смешно, и вдруг я перестал слышать какие бы то ни было звуки и почему-то стал подсчитывать, сколько павлинов я видел с момента прекращения огня. Одного, например, мы с Эраном видели обгорелым и мертвым, он был коричнево-голый, как недожаренная курица, а хвост был в полном порядке – вульгарный и нежный трен исчезнувшего в огне платья. Но если еще до всей этой истории павлинов отпускали гулять по зоопарку просто так, подумал я, у них вряд ли была какая-нибудь особенная ценность. Потом я снова очнулся и увидел, как Нбози прыгает на трех ногах, отступая перед Ада, и как Ада тычет в воздух автоматом. Пасть у Нбози была раскрыта, из нее текла зеленая нитка, длинный черный язык извивался в воздухе. Мне припомнился тот блаженный миг, когда экскурсовод и два учителя внезапно оставили нас в покое (кажется, с кем-то из девочек что-то приключилось в туалете – да? нет?) Мы послушно толклись у вольера Нбози, в досталь уже на него насмотревшись, и я решил кормить его свой недоеденный сабиах⁴. Я хотел произвести впечатление на одноклассников, на мальчиков – даже не на девочек, вот как я был юн; но когда Нбози склонил свою бесконечную пятнистую шею – безо всякой, конечно, цепи, безо всякого ошейника на ней – и сделал несколько шагов ко мне, и поднес треугольную голову к самой решетке своего огромного райского вольера, (помню, что он по-барски встал копытом на кусок влажной желто-зеленой дыни, остатки которой другой жираф – жирафа? – дожевывал над их общей бездонной кормушкой), и когда я увидел, какая у него огромная пасть, и когда лилово-черный гибкий язык обвил подношение, оставив на моих пальцах слизкую слюну, мне сделалось так дурно, что я чуть не вывалил и первую половину сабиаха ему под ноги. Липкую руку я потом носил перед собой, как подбитую; возле павильона с рептилиями я вытер пальцы о лист инжира; рука стала не просто липкой, но липкой и грязной; я стыдливо понес ее дальше. Сейчас Нбози пятился и качался, и напоминал мне шаткую трехногую трость-табуреточку: старушки, жадно приобретающие чудный предмет в сувенирном магазине у входа, через час разочаровывались и в нем, и в неожиданно мелких здешних зебрах, и в самой идее возить внуков бог знает куда – обманчивый жаркий рай, пыль, пыльца. Ада орала совершенно черными словами, орала, что Нтомби сдохла, что его сраная з-з-з-зена сдохла, что ветеринаров

⁴ Традиционная израильская еда иракского происхождения – пита или сэндвич с жареными баклажанами, яйцом, свежими овощами, солениями, хумусом и тхиной.

убило осколками стекла – из-за вас, скотов, вырождков, фриков, скотских вырождков, они остались дежурить из-за вас, вонючих вырождков природы (как-то так выразилась она, и мне это показалось очень понятным выражением – полагаю, и Нбози тоже); завали пасть, вырождок, ты никто, ты животное, ты пасть разеваешь, да? ты теперь умеешь пасть разевать, да? языком ворочать? – а хрен, ты тварь, ты просто животное, кусок поганого мяса; таких, как Нбози, она еще десять дней назад жрала по три стейка в день, он просто тварь, животная тварь, вы просто твари, как были шесть дней назад, нечеловеки, в вас нет ничего человеческого, мы тут торчим из-за вас, выродки, нас бы давно забрали, нас бы давно вывезли, если бы не надо было охранять вас, поганое трепливое мясо, лучше бы вас поубивало всех, лучше бы он, Нбози, тоже сломал шею, как его баба, лучше бы их всех поубивало и нас бы давно забрали отсюда. Вдруг я что-то увидел в воздухе – нет, я увидел, как словно бы изменилось движение воздуха, будто воздух между ней и Нбози начал закручиваться; я пополз к Адам от края воронки; автомат бил меня по затылку, я боялся, что если просто попытаюсь схватить и оттащить ее, она выбьет мне зубы прикладом, и я начал дергать ее за штанину, а она трясла ногой, как зацепившийся за корягу ребенок, и тогда я встал на колени и начал хватать ее за талию, а воздух рядом с нами закручивался все туже, и тогда я вцепился в Адам обеими руками, и встал на колени, и попытался все-таки сдвинуть ее с места, и тут двупалое копыто влетело мне в висок. Я увидел, как оно удаляется, – как в мультике, словно бы оставляя за собою воздушный след: два широченных пальца, растягивающихся до прозрачности. Так закончилась для меня эта война. Обойдемся без дешевого саспенса: шестью днями позже она закончится и для всех остальных. После нее останутся детки – маленькие и большие слова; война нарождает их кучей, как хорьчиха хорьчат; многоголовый слизкий помет, кто помельче, а кто потолще, кто совсем ледащий, а кого поди прибай еще. Будут в этом помете и слова про «постыдное, но героическое поражение», и слова про «почетное, но героическое поражение»; и «историческая неизбежность» будет в этом помете, и «Божья кара»; родятся и маленькие конспирологические ублюдочки – глухие, трехногие, наглые и визгливые олигофрены; выйдут с последом сутулые, подслеповатые, обреченные изнурять себя чтением, онанизмом и рефлексией сиамские сестры – вина и невинность, а в целом никто и помнить не будет, что среди всего выпавшего нам была еще и война, короткая маленькая война; она растворится в том, для чего появится на свет жирное, огромное, дряблкое, как желе, липкое, как звериные слюни, слово «асон»⁵. Остатки моего глуда заберут отсюда – в некоторую пятницу. Что же касается мирного населения на территории, которую мы удерживали в течение одиннадцати дней, – в живых останутся четырнадцать подлежащих каталогизации особей. Смысла в их перечислении я не вижу.

⁵ Катастрофа (иер.).

2. Дрожь

Чемодан пришлось снова сдвинуть к дивану, чтобы добраться до двери. Несколько секунд Даниэль Тамарчик тихо стоял перед дверью, надеясь, что посетители уйдут. Обычно все рано или поздно уходило – но дверь мелко задрожала еще раз, потом еще раз. Он открыл. Пара за дверью выглядела настолько достоверно, что казалась невероятной: черные костюмы, звонкие улыбки. Мужчина, правда, был непокорно кучеряв, зато волосы женщины были острижены и зализаны назад, как у серийного убийцы. На ее черном чулке круглая дырочка пускала ровные лучи вниз и вверх. Ноги у обоих были до самых колен покрыты пылью и мелкими осколками. Пыль стояла везде, Даниэлю Тамарчику, как только он открыл дверь, сам воздух показался серым. Было очень холодно. Эти двое заговорили, старательно шевеля губами, заученно открывая улыбочивые рты. Даниэль Тамарчик вытащил из заднего кармана истертый бумажный лист, развернул его перед визитерами и почти уже опустил голову, как делал в такой ситуации всегда, но вдруг занервничал. Перед ним был не какой-нибудь сосед-переселенец, пришедший узнать, в котором часу тут положено занимать очередь за консервами (возня с бумажкой, пунцовое смущение на оплывшем мелкоочечном лице, губастое «простите», как результат – еще большее смущение и, наконец, удивительный в своем разнообразии набор жестов, которыми люди на памяти Даниэля Тамарчика пытались выразить чувство вины за попытку говорить с глухонемым). Разворачивая свою захватанную бумажку, Даниэль Тамарчик всегда старался смотреть в сторону или вниз и сам испытывал мучительный стыд – плохо объяснимый, но хорошо понятный стыд перед чужим стыдом. Но нынешних гостей одним стыдом не отведать, Даниэль Тамарчик отлично это видел. Он поймал сломанный карандаш, болтающийся на прищипленной к двери веревочке, прижал бумажку к проседающей крышке чемодана и нацарапал пониже прежней надписи, прорвав бумагу в двух местах:

пожалуйста, уходите

Кучерявый с наглой улыбкой записного душки, которому все сходит с рук, попытался заглянуть в двери; Зализанная, хоть и припунцовившись, наклонилась и стала гладить воздух в двадцати сантиметрах от пола, вопросительно глядя на Даниэля Тамарчика. Даниэль Тамарчик не понял, потом понял и вдруг пришел в слепую, совершенно белую ярость, от которой кровью наливаются язык и губы, и несколько секунд стоял, просто слушая эти пульсирующие губы и этот пульсирующий язык, а потом захлопнул дверь. Он вдруг представил себе, как эти люди бредут по раскучероченному асфальту со своими брошюрами, своей Библией и своей Доброй Вестью сперва к оплывшему очкарику, потом к сухой женщине, которая упорно отказывается эвакуироваться из своей висящей на уровне второго этажа чудом уцелевшей кухни, потом к голодной молодой паре с приумолкшим в последние дни младенцем – и как через пятнадцать минут два оплывших кота и высохший терьер (а у молодых, кажется, и не было никого – мыши? тараканы? – на этой мысли его слегка притошнило, как приташнивало каждый раз, когда он начинал думать о происходящем; неважно) будут сидеть на серой от пыли и холода траве перед этими костюмированными свидетелями, и свидетели будут терпеливо переворачивать перед ними глянцево-страничные брошюры. Тут он вспомнил, что у мужчины в руках не было никаких брошюр, зато на плече зализанной женщины болталась, некрасиво сминая рукав, огромная клеенчатая сумка, вся набитая какими-то углами. Он догадался, что для новой целевой аудитории с ее неловкими конечностями эти ловкие люди сообразили кубики с картинками. В последние три недели много всего появилось с картинками.

Даниэль Тамарчик снова приставил чемодан к двери, чтобы заслонить зубастую дыру, из которой постоянно тянуло серым, хрустящим на зубах холодом, и вернулся в свою ледяную кухню. Некоторое время Даниэль Тамарчик и Йонатан Кирш смотрели друг на друга. Потом

Йонатан Кирш быстро опустил голову и вжался в стенку. Даниэль Тамарчик снова взял в руки спицу. Визит свидетелей Иеговы здорово выбил его из колеи, замерзшие пальцы дрожали, кончик спицы мелко ходил вверх-вниз. Возможно, свидетели уже заходили к соседям. Возможно, соседи-то и отправили их сюда. Впрочем, нет, соседи предупредили бы их, что с Даниэлем Тамарчиком языками не зацепишься. И вообще, знай они – зачем бы тогда эта зализанная кошка гладила воздух перед своими драными коленями? Нет, они, конечно, просто обходили все уцелевшие квартиры подряд, как у них заведено. Но почему тогда Кучерявый попытался сунуть голову в дверь? Может быть, что-то услышал? От этой мысли Даниэль Тамарчик вдруг почувствовал неприятную пустоту в горле. Он силился вспомнить, куда смотрел Кучерявый, – в сторону кухни? Нет, кухня справа, туалет слева. Если бы они с Зализанной услышали хоть слово, их головы точно повернулись бы в сторону кухни. Даниэль Тамарчик попытался понять, что испытал бы в этом случае – облегчение? Тут ему снова пришлось опустить спицу и постоять немного, поговорить с собой. В очередной раз сказать себе, что его obsессия – постыдная, глупая, серая, серая история: какая разница, ах, какая разница, что произошло (или не произошло) с Йонатаном Киршем? Ему никогда не было особого дела до Йонатана Кирша. Они просто жили в одной квартире, совершенно отдельно друг от друга: Даниэль Тамарчик в спальне, Йонатан Кирш – в пустовавшей до этого гостиной. Даже когда начался асон (Даниэль Тамарчик попытался посчитать, сколько дней прошло с начала асона, и подивился тому, как остро сперва ощущается точная хронология катастрофы, – «пошел третий день», «в девять двадцать будет ровно неделя»; потом это ощущение постепенно размывается – «девять? нет, десять дней назад»; сейчас же надо было отсчитывать от такого-то числа нынешнего месяца, чтобы хоть как-то сориентироваться; ну, предположим, сорок дней) – так вот, даже когда все это началось, дней сорок назад, Даниэль Тамарчик не сразу научился делить с Йонатаном Киршем кухню – единственное помещение, которое удавалось кое-как отапливать и в котором им обоим приходилось из-за этого спать. Даниэль Тамарчик помешался на своем соседе по квартире, Йонатане Кирше, три? – нет, четыре дня назад. В тот день (в то раннее утро) оплывший сосед, трюся в убежище, проявил к глухонемому непрошеную заботу и постучал в окно Даниэля Тамарчика. Соседская опека была лишней: Даниэль Тамарчик отлично чувствовал завывания сирен, а эта сирена и вовсе оказалась ложной, как и большинство сирен в те дни (никто не понимал, что именно нужно улавливать, и как это улавливать, и кого об этом оповещать, и что делать, когда тебя оповещают, и вообще, и вообще). Даниэль Тамарчик, впрочем, никуда не бежал ни во время подлинной сирены, ни во время ложной. В лиловом утреннем воздухе висела тяжелая пыль. Даниэль Тамарчик приложил ладонь к ледяной стене, но если соседский младенец и плакал, вырванный сиреной из милосердных, млечных слюнявых снов, то делал это, видимо, совсем тихо. Даниэль Тамарчик решил разжечь уголь в десятилитровой канистре из-под оливок и погреться хотя бы пятнадцать минут. С муками вынув себя из-под трех одеял и пледа, он сунул ноги в холодные теплые тапки, дрожа, наклонился за углем, и вдруг увидел краем глаза, как Йонатан Кирш, вытянув шею, быстро раскрывает и закрывает рот, глядя на очкастого соседа, понуро и шатко возвращающегося домой (без очков). Даниэль Тамарчик так и замер, склонившись над бумажным мешком с углем и вывернув шею. Он смотрел Йонатану Киршу в рот. Он забыл, что хотел сделать, и залез обратно в свою одеяльную нору, на секунду показавшуюся теплой. Даниэль Тамарчик задыхался. Он вдруг понял, что впервые с тех пор, как намертво запретил себе делать подобные вещи (в шестнадцать лет? в семнадцать лет?), ощупывает, крутит и выворачивает пальцами свой язык, дергает себя за щеки, мнет горло, словно от этого могла внезапно обнаружиться и починиться скрытая поломка: что-то бы чпокнуло, как чпокает иногда больное колено, издав звенящую, почти сладостную острую боль, – и все бы стало нормально. Даниэль Тамарчик с омерзением вытер пальцы о внутреннюю поверхность одеяла и посмотрел на Йонатана Кирша. Рот Йонатана Кирша был приоткрыт и неподвижен, розовый язык покоился в глубине, грудь едва заметно приподнималась и опускалась.

Йонатан Кирш вроде бы спал. Даниэль Тамарчик обругал себя, но так и не смог заснуть. Потом настало утро, Даниэль Тамарчик отстоял двухчасовую очередь за сублимисом на сухом и сером морозе, в очереди говорили об утренней сирене, заботливый сосед пальцем нарисовал в воздухе длинную воронку, почти упершуюся Даниэлю Тамарчику в пупок, потом согнул палец крючком, резко дернул на себя и вопросительно пожал плечами: мол, бог его знает, что это все такое. Даниэль Тамарчик отвернулся. По дороге домой ему пришло в голову жевать сублимисо сухим: так во рту все время что-то было. Это открытие поразило и осчастливило его, от сублимисной жвачки сводило усталые челюсти, он и думать забыл о Йонатане Кирше. Но вечером ему вдруг показалось, что Йонатан Кирш напевает. Он резко повернулся, едва не опрокинув на себя тарелку с супом. Йонатан Кирш сидел на своем обычном месте, приоткрыв рот, медленно чесался и смотрел, как тлеет в канистре крошечная вечерняя порция угля. Йонатан Кирш был единственным из всех знакомых Даниэля Тамарчика, кто за эти сорок дней не отошал. Доев суп, Даниэль Тамарчик лег спать раньше обычного, но не смог ни читать (высаживая глаза до наступления полной и окончательной темноты), ни играть в «пятнашки» (тоже obsessia – ища, чем утолять вечернюю смертную тоску, переплетенную со смертной же скукой, он раскопал в кладовке их с братом детские игры допланшетного периода; это было плохой затеей, дважды Даниэль Тамарчик начинал неловко, до кашля, плакать и через пятнадцать минут сдался, успев напоследок цапнуть что-то угловатое и что-то квадратное; это оказались кубик Рубика и «пятнашки»; кубик бесил его так же, как в детстве (и брат, когда собирал это адское крутилово на скорость, тоже бесил), однако в «пятнашки» Даниэль Тамарчик стал играть по семь-восемь часов в день, погружаясь в чпокающее механическое бездумие со сладостным отвращением к себе. «Пятнашки» валялись на полу рядом с матрасом, а Даниэль Тамарчик лежал, повернувшись к Йонатану Киршу спиной, и уговаривал себя не думать про Йонатана Кирша. Сквозь тонкий, рваный сон он пытался припомнить, всегда ли Йонатан Кирш так открывал рот, когда смотрел в окно, всегда ли он так двигал языком, когда кто-нибудь стучал в дверь, всегда ли его горло ни с того ни с сего начинало ходить вверх и вниз. К утру Даниэль Тамарчик смирился с тем, что его жизнь поглощена мыслями о Йонатане Кирше. Но что же, что же, что же в таком случае делать Даниэлю Тамарчику?

Даниэль Тамарчик пришел к решению. Впервые с тех пор, как были подъедены так небрежно хранившиеся в квартире мирные продукты, он поднялся со своего матраса, не думая о еде. В помещении, раньше служившем ему мастерской, а теперь застывшем от холода, он пересмотрел и перещупал циркули, карандаши, маленькие и большие монтажные ножи, острые металлические транспортиры – и всем остался недоволен. Он внутренне дрожал от решимости, но не мог сосредоточиться до конца ни на одной мысли. Он вспомнил про пахнущий тленом рыхлый пакет, шлепнувший его по лицу, когда он копался в кладовке: путанные остатки маминого вязания, клубки, мятые ученические бумажки с расчетами, расплзающиеся недовязки и лаокоонический ком спиц, соединенных жесткими лесками и перехваченных кое-где канцелярскими резинками в отчаянной маминой попытке призвать их к порядку. Спица оказалась Даниэлю Тамарчику ровно тем, что нужно. В кухне, пропахшей консервным супом (все варили консервный суп: консервы из пайка вываливались одним чохом в воду, варились или, если не хватало электричества, просто размешивались), спал Йонатан Кирш. Даниэль Тамарчик подошел к нему и ткнул его спицей в плечо. Йонатан Кирш дернулся и испуганно распахнул глаза, его рот открылся, горло прыгнуло вверх и вниз. Даниэль Тамарчик не смог ничего понять и поэтому снова ткнул Йонатана Кирша спицей, на этот раз попав в грудь. Йонатан Кирш вжался в стену, испуганно дыша. Даниэль Тамарчик ткнул еще раз, пристально глядя на Йонатана Кирша, на его рот и горло. Если Йонатан Кирш и издал хоть какой-нибудь звук, Даниэль Тамарчик не был в этом уверен. Он протянул руку и положил ладонь на горло Йонатана Кирша. Видимо, Йонатан Кирш был напуган происходящим до обмирания, потому что даже не попытался вырваться, а только судорожно повел головой и замер, скосив глаза, пыта-

ясь разглядеть сжавшиеся на его горле чужие пальцы. Даниэль Тамарчик сильно ткнул Йонатана Кирша спицей в бок. Горло Йонатана Кирша дернулось, но Даниэль Тамарчик готов был поручиться, что ничего членораздельного из этого горла не вырвалось. На секунду у Даниэля Тамарчика мелькнула мысль написать на бумажке: «Признавайся!», но это была явно нелепая идея. Даниэль Тамарчик продолжал сжимать горло Йонатана Кирша и тыкать спицей, в отчаянии понимая, что этот метод ни к чему не ведет, что ничего не получается, а если и получится, то не так, а как – совершенно неясно. Тут произошел инцидент со свидетелями Иеговы, и когда Даниэль Тамарчик вернулся в свою ледяную кухню, они с Йонатаном Киршем некоторое время смотрели друг на друга, а потом Йонатан Кирш быстро опустил голову и вжался в стенку. Даниэль Тамарчик снова взял в руки спицу. Визит свидетелей Иеговы здорово выбил его из колеи, замерзшие пальцы дрожали, кончик спицы мелко ходил вверх-вниз. Он бросил спицу на стол, вернулся в мастерскую и выудил из ящика древний диктофон. Бодренько насвистывая и испытывая отвращение к очевидности собственных уловок, Даниэль Тамарчик взял на кухне фонарик и сделал вид, что идет в кладовку искать... ннну, нннууууу, кухонное полотенце. На самом деле он быстро, на цыпочках, чтобы не услышал Йонатан Кирш, свернул в мастерскую и там, стараясь не производить лишних колебаний воздуха, медленно-медленно переставил батарейки из фонарика в диктофон, после чего вернулся, забыв о полотенце, вспомнил о полотенце, проклял себя и вернулся с полотенцем. Притворно смахнув полотенцем невидимые крошки с обеденного стола, он сунул полотенце в угол, подложив под него включенный диктофон. Окна слабо и ритмично дрожали: фургон, в котором до асона развезжал мороженщик, теперь через день возил по району солдат и армейских волонтеров с консервами, и приторная мелодия, полная щелчков и переливов, которую Даниэль Тамарчик еще помнил с детства, по-прежнему будила в здешних упрямых обитателях неуместный павловский рефлекс. Все еще насвистывая и тошняясь самим собой, Даниэль Тамарчик нарочито беспечной походкой вышел за консервами. Молодой муж отоваривал консервную карточку, ежесекундно оглядываясь на окна своего маленького домика со стесанными бурей углами (серая консервная баночка с тремя серыми килечками, плавающими в холодной пустоте). Оплывший сосед испуганно смотрел на молча прохаживающихся вдоль очереди ничейных котов – один пыльно-серый, другой бывший белый, теперь тоже пыльно-серый. Его собственный терьер с неприятным оскалом, похожим на оскал кучерявого Свидетеля Непроизносимого Имени, тоже записной лапочка, торопливо говорил что-то насупленному сегену⁶, упершись лапами в камуфляжное бедро, и сеген изо всех сил боролся с желанием неполиткорректно погладить бойкого бадшабку⁷ по пыльной мохнатой голове. Даниэлю Тамарчику полагались банка нута и банка тунца, по карточке Йонатана Кирша солдат с каменным лицом выдал крошечный пакетик манной крупы. Крупу солдат отдал Даниэлю Тамарчику не сразу, помедлил и посмотрел на Даниэля Тамарчика со значением. Бывали случаи когда. Ничего личного, но некоторые. Даниэль Тамарчик сделал возмущенное лицо. Солдат отдал ему пакетик. Даниэль Тамарчик порадовался, что не может спросить солдата – сам-то не голодный, нет? Диалог этот привычно состоялся у Даниэля Тамарчика в голове, и Даниэль Тамарчик вышел из него победителем, а пристыженный солдат в голове Даниэля Тамарчика уронил свою каменную маску и растерянно смотрел ему вслед, пока Даниэль Тамарчик нес домой свои консервы и демонстративно отведенный в сторону манной пакетик. Он вдруг почувствовал, как страшно, до головокружения, проголодался, и почти побежал, перескакивая через вздыбленные куски асфальта. Он так хотел есть, что не сразу даже выкрал диктофон из-под полотенца (хотя заранее знал, что там пусто), но терпел, пока не вывалил консервы в трехлитровую кастрюлю и не разболтал их в холодной воде. Запах шел головокружительный. В мастерской он сунул обе руки под диванную подушку,

⁶ Старший лейтенант (*ивр.*).

⁷ Искаженное, созданное во время асона сокр. «Бааль дибур шэ-эйно бен-адам» (*ивр.*).

одной включил диктофон, а другую положил на динамик. Ровный шорох, мелкая дрожь – если даже Йонатан Кирш и сказал что-нибудь в его отсутствие, об этом нельзя узнать таким способом. Даниэль Тамарчик вдруг понял, что не может исключить некоторого издевательства со стороны Йонатана Кирша, – в конце концов, их взаимное безразличие на протяжении полутора лет вполне могло казаться безразличием только ему, Даниэлю Тамарчику. Вдруг он понял, что ничего не знает об отношении к себе Йонатана Кирша – и вообще ни разу об этом не задумался.

Он попытался успокоиться, чтобы съесть тарелку своего ледяного супа медленно, но не смог и заглотил последние две ложки стоя, капая супом на стол. У него появилась идея. Электричество должны были дать через двадцать минут. Подтерев пальцем капли и смакуя их на ходу, он сбежал в мастерскую, вытащил из перетянутой резинкой пачки синий толстый маркер и написал на листе пыльной акварельной бумаги: «Это Даниэль Тамарчик. Квартира 3. Приходите после электричества на...» – он едва не написал «чай», но вместо этого добавил: «суп». Тут он опять растерялся и занервничал, пытаясь решить, кому отнести записку. Оплывший сосед, проявлявший некоторую заботу о Даниэле Тамарчике, вызывал странное отвращение: что этому человеку делать здесь, откуда он прибрел, тряся своими подбородками, зачем осел в мертвом районе среди отказавшихся от эвакуации ошметков вроде Даниэля Тамарчика, и Йонатана Кирша, и сухой женщины с висячей кухней и мерзкими кошками, и прозрачной пары с молчаливым младенцем? После эвакуации Даниэль Тамарчик стал испытывать отвращение не только к себе, но и ко всем оставшимся: он был твердо уверен, что их причины держаться бледными когтями за свое порушенное и вымороженное гнездо (к вящей ненависти солдат, вынужденных таскать по району консервы и батарейки и производить перепись живых) были гадкими, волглыми, стыдными. Что спрятано в кухне у сушеной старухи, которая (Даниэль Тамарчик прочел это по губам разъяренного фельдшера, пока ждал, чтобы на лоб наложили шов) не позволила никому переступить порог и заставила вправлять ей сломанную ногу на узкой, забитой мусором лестничной клетке? Труп мужа в допотопной выварке времен польского галута? Десятилитровая канистра из-под оливок с его обугленными руками? Чан с головой? Бледная пара проводила сатанистские обряды со своим истерзанным младенцем, не иначе, а прикочевавший из ниоткуда лучезарный жирдяй теперь спал в комнате, принадлежавшей ранее двум шестилетним близняшкам, и, небось, нюхал их маленькие полосатые грязные трусы. Сам Даниэль Тамарчик забился во время эвакуации в мастерскую. Эвакуация означала людей, бараки, людей, людей, попытки заговорить с ним, попытки заговорить с ним, попытки заговорить с ним. Ему и так пришлось десять, пятнадцать, двадцать раз совать в нос солдатам, потом офицерам, потом ласковым камуфляжным бабенкам из сляпанной на скорую руку Службы релокации населения свои мятые записки, пока одна из этих бабенок не попыталась с улыбкой детсадовской воспитательницы хватать его за руки. Тогда он вырвался и нацарапал на листе бумаги иголкой штангенциркуля: «НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!» – и его оставили в покое. Что же до Йонатана Кирша, каждая новая буша-вэ-хирпа⁸ вызывала у него, насколько Даниэль Тамарчик мог судить, одну и ту же реакцию: он цепенел и, закрыв глаза, раскачивался влево-вправо, пока воздух завывал сиренами, а когда сирены замолкали, открывал глаза и продолжал раскачиваться – старая желто-синяя неваляшка с покрытыми пылью перьями. Когда Даниэль Тамарчик шел домой с новым свитером в пакете (два года назад?), шел, как всегда, опустив голову (и считая пуговицы, лежащие на земле, это был его способ ничего не видеть, каждый год счет обнулялся, в день перед асоном он увидел тридцать седьмую), справа и немного впереди возникла какая-то яркая штука, такая яркая, что Даниэль Тамарчик, вопреки своим правилам, остановился и повернул голову. Йонатан Кирш сидел с наглухо закрытыми глазами, твердый и неподвижный, если не считать раскачиваний вправо-влево. Вокруг были люди, машины, воз-

⁸ «Стыд и позор» (*ивр.*). Во время асона так стали называть «слоистые бури» из-за производимого ими психологического воздействия.

дух, запахи, и Йонатан Кирш показался Даниэлю Тамарчика воплощением ужаса перед всем этим, невыносимым. Даниэль Тамарчик поднял глаза. Рядом с клеткой Йонатана Кирша стоял круглый человек с лицом школьного учителя; на груди у него была табличка «Я глухонемой». Даниэль Тамарчик молча взял огромную тяжелую клетку, в которой сидел Йонатан Кирш, за ручку и попытался поднять. Человек с табличкой вынул из нагрудного кармана куртки блокнотик в клеточку – первые страницы потрепанные, следующие поновей, на самой новой было написано катаящимся ровненьким почерком: «Уезжаю продаю недорого. 17 л., м., говорящий (?)». Даниэль Тамарчик снова потянул за ручку тяжелой клетки, запрыгал на цепочке болтающийся внутри колокольчик, кусок яблока, всунутый между прутьями клетки, выскочил и упал на асфальт. Даниэль Тамарчик попытался его поднять, круглый человек засуетился, оттолкнул яблоко ногой, успокаивающе замахал руками, написал на очередной странице блокнотика какую-то цифру. Даниэль Тамарчик снова потянул за ручку и поднял клетку, но от тяжести у него немедленно заболели пальцы, и он поставил клетку обратно. Круглый человек дернулся, но потом посмотрел на Даниэля Тамарчика, поджал губы, вздохнул и начал совать ему тяжелый полиэтиленовый пакет с какими-то причиндалами, кормом, маленькой резиновой уткой, изрядно побитой клювом. Даниэль Тамарчик закрыл глаза. Круглый человек отстал, положил пакет на клетку и сделал пару шагов в сторону. Даниэль Тамарчик поднял клетку с Йонатаном Киршем и понес. С тех пор они с Йонатаном Киршем не общались. Йонатан Кирш жил в пустой маминной спальне. Утром Даниэль Тамарчик сыпал корм, менял воду и засовывал между прутьями кусок яблока. Один раз он надел хозяйственные перчатки и вымыл с мылом резиновую утку, которая стала выглядеть мерзко. Когда начался асон и нельзя было найти яблоки, он стал совать вместо яблока кусок картошки, которую Йонатан Кирш не замечал. Один раз он сунул кусок пайкового лука, и Йонатан Кирш вполне им заинтересовался, но лук пах, и через час Даниэль Тамарчик его выкинул. Когда бабенки из СРН, с их раскачивающимися сиськами, и раскачивающимися автоматами, и серыми от пыли волосами обследовали его квартиру на предмет безопасности, он надеялся, что Йонатана Кирша заберут. Но вместо этого Йонатана Кирша записали, поставили на довольствие и теперь выдавали паек, сопровождая пакетик с крупой подозрительными взглядами в его, Даниэля Тамарчика, адрес. Размышляя о том, кому отнести записку, Даниэль Тамарчик вдруг подумал, что если бы Йонатан Кирш сказал бабенкам хоть слово, его бы наверняка забрали, но он, конечно, окаменел и сидел как вкопанный. Впрочем, из этого тоже нельзя было делать никаких выводов. Даниэль Тамарчик отодвинул чемодан и пошел к сухой женщине через дорогу. Ему не хотелось подниматься, поэтому он встал под ее накренившейся парящей кухней и принялся стучать камнем по куску железной арматуры, торчащей из бетона. Арматура вибрировала, кости Даниэля Тамарчика гудели, кошки сухой женщины, раскрыв крошечные острые пасти, глядели на него из глубокой расщелины в стене. Наконец старуха появилась у окна. Только тут Даниэль Тамарчик вспомнил про сломанную ногу и про то, что паек для нее клали в спущенное на длинном кабеле от телевизора ведро. Не объясняясь, Даниэль Тамарчик развернулся и пошел к оплывшему соседу, улыбочиво попытавшемуся заманить его внутрь и принявшему приглашение на суп с дряблыми поклонами и омерзительными потираниями рук.

За домом Даниэль Тамарчик нарвал оливковых листьев. До электричества оставалось минут пять. Давали его минут на двадцать-тридцать – слабенькое, мерцающее, включить два прибора сразу невозможно. Даниэль Тамарчик обычно успевал чуть-чуть зарядить макбук, вскипятить чайник и залить кипятком в один термос, а подваренный суп – в другой. Один раз он подумал запустить стиральную машинку и потом в темноте выгребал из нее разбухшие мыльные тряпки, промок сам и намочил пол. Сейчас он вошел на кухню – и люстра вдруг вспыхнула, как в плохом спектакле. Он поспешил выключить ее и метнулся к плитке, водрузил на нее кастрюлю с супом, сглотнул слюну и скорбно подумал, что порция толстяка означает для него самого, и без того вечно голодного, пробуждение без завтрака (иногда он представ-

лял себе эвакуацию как место, где всегда кормят, как огромный столовый барак, в торце которого стоит сказочный кашевый горшок, и этот горшок все варит, и варит, и варит под сияющими белыми лампами). Кормушка Йонатана Кирша была пуста, сам он смотрел на Даниэля Тamarчика черным недоверчивым взглядом. Даниэль Тamarчик взялся за пакетик с манкой и вдруг принял решение. Демонстративно, как уездный фокусник, он надорвал пакетик, глядя в глаза Йонатану Киршу. Йонатан Кирш подался вперед. Даниэль Тamarчик медленно дал тонкой струе манки политься в свою ладонь. Горло Йонатана Кирша прыгнуло и опустилось. Тогда Даниэль Тamarчик резко высыпал всю манку в тихо булькающий суп. Йонатан Кирш взмахнул крыльями и открыл рот. На секунду Даниэлю Тamarчику показалось, что вот-вот все станет ясно. Йонатан Кирш медленно закрыл рот и опустил крылья. Несколько секунд он смотрел на густой пар кипящего консервного варева, а потом закрыл глаза. Даниэль Тamarчик ощутил слабую тошноту и сказал себе, что это от голода. Оранжевая лампочка на плитке погасла. Электричество кончилось. Даниэль Тamarчик не успел вскипятить воду, а делать это на углях было рискованно и мучительно. Он вынул из кармана оливковые листья и бросил их не в термос, а в клетку Йонатана Кирша. Двумя руками он взял клетку, рывком поднял и перетащил на стол, потом отыскал пачку ханукальных свечей и старую ханукию и сделал на столе красоту. За дверью уже явно переминался с одной слоновьей ноги на другую оплывший сосед, мучился этической дилеммой: хорошо ли стучать в дверь глухонемого, не издевка ли это, упаси господи? Даниэль Тamarчик был уверен, что все извращенцы – очень вежливые, услужливые люди. Он впустил соседа и ловко отступил перед натиском взмахов и полупоклонов, повернувшись ровно так, чтобы сосед налетел на чемодан, и немножко наслаждался его неловкостью. На кухне он усадил толстяка прямо перед Йонатаном Киршем. Толстяк, считавший себя обязанным все время находиться в поле зрения глухонемого, порывался жестами выразить восхищение перед сервировкой, с уважительным видом пощупал дешевую алюминиевую ханукию и вознамерился помочь с разливанием супа по тарелкам, но Даниэль Тamarчик твердо вернул его на место за столом. О, это вечное чувство неловкости у человека, оказавшегося вне поля зрения глухонемого. О, этот вонючий и сладостный консервный суп. О, пустая кормушка Йонатана Кирша, его прыгающее горло, о, манка, разваренная манка, о, вороватые глаза соседа, который все, все понял с самой первой ложки, – похвалите же суп, мой милый Большой Брат, – нет, не поворачивается язык, и поэтому сосед делает какое-то эдакое лицо, эдакое лицо ценителя ложек, разглядывая ложку, ценителя фарфора – разглядывая печатные узоры на пластиковой тарелке. Даниэль Тamarчик очень внимательно смотрит на соседа, он готов жестоко предложить измученному отсутствием разговора толстяку вторую тарелку, но Йонатан Кирш сидит, закрыв глаза, открывая и раскрывая рот, и если бы он произнес хоть слово, толстяк, конечно же, уцепился бы за это слово. Даниэлю Тamarчику нет смысла тратить свой садистический суп дальше. Как только толстяк заканчивает шкрябать ложкой о дно тарелки, Даниэль Тamarчик пишет на этикетке манного пакетика: «Спасибо. До свидания» и медленно, уворачиваясь от второго, третьего и пятого рукопожатия, выдавливает склизкого, как ком манки, соседа за дверь, и грохает на пол чемодан с чувством человека, строящего последнюю баррикаду, и сам садится на пол, приваливается к чемодану спиной, и снимает узкие ботинки. Он вжимается головой в стену, разделяющую прихожую и кухню, и чувствует мелкое шк-шк голодным клювом по деревянной задней стене клетки, шк-шк дррр. Пальцы у Даниэля Тamarчика вдруг опять мокрые, он быстро вытаскивает их изо рта и вытирает о горло, язык болит, он держит пальцы на собственном горле и говорит: «Ыыыыых, ыыыыых, ыыыыых». Это надо немедленно прекратить, думает Даниэль Тamarчик и встает, ноги у него замерзли до бесчувствия, ледяной мраморный пол становится ледянее, потому что из пробоины в двери сквозит, и чемодан ничем не помогает, чемодан дрожит от ветра и ударяется об дверь, и ощущение от этого такое, будто кто-то лезет, стучится войти. Даниэль Тamarчик дошел до кухни, лизнул пальцы и задушил ими последнюю ледащую свечку. Зажав в зубах фонарик с поразительно живучими,

как выяснилось, батарейками, которые Даниэль Тamarчик все равно запрещал себе тратить попусту, он взял нож и вилку, зачем-то присервированные рядом с суповыми тарелками, и попытался открыть Йонатану Киршу рот. Кончик ножа он втиснул в зазор между черными острыми скобками клюва, а зубцом вилки уцепился за верхнюю челюсть и потянул. Йонатан Кирш застонал и слабо, жалобно задрожал шеей. Зубы Даниэля Тamarчика мелко бились о фонарик, фонарик прыгал, Даниэль Тamarчик мигал и задыхался – но вот он, язык: короткий, розовый, похожий на толстый твердый пенис. Йонатан Кирш вяло хлопал Даниэля Тamarчика по лицу и мотал головой, зубец вилки соскользнул и едва не ударил Даниэля Тamarчика в глаз, черный клюв захлопнулся. Даниэль Тamarчик сел на стул и почувствовал, как в воздухе нарастает очередная сирена, и понял, что даже не знает, где находится убежище. Он ждал, что оплывший сосед постучит ему в окно, но сосед не постучал, и Даниэль Тamarчик догадался, что больше не увидит этого странного, несчастного, заискивающего человека, не нюхающего никакие трусы, покинутого своим злым и продажным терьером – «о, заберите же, заберите меня туда, где вечная каша, и аварийные лампы, и эвакуированные породистые сучки, такие одинокие после потери своих хозяев». Даниэль Тamarчик заглянул в канистру из-под оливок и на глаз прикинул количество угля в последнем бумажном мешке, оставшемся от предыдущей раздачи, и увидел, что это хорошо, и похвалил себя. Потом он осмотрел стоящую на полке большую кастрюлю, а потом рывком взял клетку с Йонатаном Киршем на грудь и понес в прихожую. Он вынул Йонатана Кирша из клетки, и прикосновение холодных кожистых ног было отвратительно ему. Он посадил Йонатана Кирша на дно чемодана, и Йонатан Кирш закрыл глаза, сжался и качнулся влево-вправо. Даниэль Тamarчик закрыл чемодан на молнию и положил на него ладонь. Чемодан молчал. Даниэль Тamarчик открыл дверь и прямо в носках вышел на ледяную темную улицу. Пуговица, оброненная не то соседом, не то зализанной бабой и ее спутником, блеснула среди серой, черной травы. Даниэль Тamarчик перестал считать пуговицы на следующий день после асона, потому что везде были пуговицы, и туфли, и обломки очков, и маленькие кукольные тарелочки, и боже мой. Даниэль Тamarчик проходит десять шагов, ставит чемодан туда, где раньше была клумба, и возвращается домой. В соседнем маленьком доме прозрачная молодая женщина, третьи сутки лежащая лицом к стене посреди невыносимой, сдавливающей голову тишины, слышит, как два кота в кустах перестают стучать раскрашенными кубиками, делают несколько быстрых шагов, начинают переговариваться.

3. Ээээээээ

Шестая-бет (без слов). Капец. Капец. Капец.

Сорок Третий (без слов). Ну ты что. Ну ты что. Ну все. Ну все.

Шестая-бет (без слов). Уже приходили же. После сна приходили. Просто смотрели. Еды нет, и уже приходили. Не кормить. Потом опять сплю – еды нет. Значит, все. Опять придут – и все.

Сорок Третий (без слов). Ну что ты. Ну что ты. Вон пожуй. Вон что-то пахнет, там за тетрадками, пожуй.

Шестая-бет (без слов). Там нечего. Что пожуй? Что пожуй? Приходили и не кормили. Значит, все. Значит, приходили смотреть. Придут еще, и все. Прамама рассказывала: приходят, и все, берут, и все. Унесут и палкой.

Сорок Третий в сотый раз пытается раскопать мусор, в который превратилась кормушка, и, действительно, находит что-то коричневое. Сорок Третий осторожно заслоняет это что-то от Шестой-бет, тихо жует.

Сорок Третий (без слов). Ну перестань. Ну что палкой, нет, зачем, почему палкой, уносят и что-то дальше.

Шестая-бет (без слов). Дальше палкой.

Сорок Третий медленно жует что-то подвявшее, подгорелое в углу вольера, среди разнесенных взрывом фанерных щепок. Шестая-бет тоже медленно подсакивает, жует без аппетита. В облицованной кафелем большой комнате, где раньше стояли вольеры, кроме них никого нет.

Шестая-бет (без слов). Ты скажи им. Ты скажи им: нет! Не надо палкой! Надо кормить, не надо палкой!

Сорок Третий (без слов). Я скажи? Я не пробовал никогда. Я слов не знаю. Все было хорошо, я спать хочу, я не пробовал.

Шестая-бет (без слов). Ты скажи! Ты большой, скажи. Я маленькая, скажи им – я маленькая.

Сорок Третий (без слов). Я не знаю. Я не пробовал.

Шестая-бет (без слов). Давай. Давай пробуй.

Сорок Третий беззвучно открывает и закрывает рот, неловко, будто в скулах стоят чужие шарниры. Шумно дышит. Из рта падает кусочек мелкой жеванины. Шестая-бет замечает это, но не проявляет к жеванине никакого интереса.

Сорок Третий (без слов). Не могу. Странно. Где глотать – там странно получается, как будто торчит.

Шестая-бет (без слов). Ты большой! Ты большой!

Сорок Третий (без слов, слезливо). Нет, ты!

Шестая-бет (без слов). Ты большой! Говори: «Не надо!» Говори: «Не надо! Надо кормить!»

Сорок Третий открывает и закрывает рот, дышит.

Сорок Третий (без слов). Я испорчу. Нет? Я плохо скажу. Нет? Нет, я скажу так: «Не палкой!» Так? «Не палкой!»

Шестая-бет запрыгивает в неловко растопыренное, вывернутое взрывом лаборантское кресло, встает на задние лапы, смотрит в сетчатое окно.

Шестая-бет (без слов). Ай! Ай!

Ури Факельман осторожно, присев на корточки и растопырив руки, коленом толкает дверь кормовой базы. Дверь медленно открывается.

Яся Артельман (словами). У нас с Мири была крыса, я ее усыплял. Она заболела, я колот ей, чтобы усыпить. Мне до сих пор... ну, короче.

Ури Факельман (словами). То было свое. Та жила у тебя, ты был к ней привязан. Это не одно и то же. Ты же рыбу ловил?

Яся Артельман (словами). Ну когда-то, до всего. Сейчас вообще не понимаю, сейчас вообще ловят?

Ури Факельман (словами). Да еще как ловят, кам он. Есть надо, от туны всех тошнит уже. Ну и рыбы молчат, как...

Яся Артельман (словами). Фак, как эта шутка задрала.

Ури Факельман (словами). Да меня много что задрало. Задрало, кибенимат⁹, искать жратву на всех. Почему не посменно? Я не понимаю, почему мы отвечаем за жратву?

Яся Артельман (словами). Сам сказал про кроликов.

Ури Факельман (словами). Я сказал вчера, а назначили нас вчера утром. Тебя понятно почему, тебе на все класть, а я, блин, ссу.

Яся Артельман (словами). Мне не класть, я просто не ссу, как хрен чо. Фак, я стрелял в людей, ты стре лял в людей. Да, на съедобных кроликов мне, извини, класть. Я тебе утром еще сказал: давай сейчас и все. Нет, «посмотрим и доложим». Ой, девочка, сюсюсю, дядя доктор только посмотрит!

Ури Факельман (словами). И-нннах.

Яся Артельман (словами). Сам и-нннах. Сам чо рассказывал про кроликов? Говорил – мерзкие твари, жрут и срут.

Ури Факельман (словами). То до всего было. И я не убивал, мама убивала, я кормил и выносил их срач вонючий. Мэшэк¹⁰ – это другое. Там они другое.

Яся Артельман (словами). Так и это мэшэк. Это же запасник, они еда.

Ури Факельман (словами). В запаснике не еда, в запаснике замена. Умер в детском зоопарке кролик – из запасника берут замену. Еда – на кормовой базе.

Яся Артельман (словами). А эти что?

Ури Факельман (словами). Кормовая база.

Яся Артельман (словами). Ну.

Ури Факельман (словами). Блин, я не ссу, но блин, мы сейчас заходим, а они такие, ну, словами.

Яся Артельман (словами). Фак, так и люди словами, ты в армии три года.

Ури Факельман (словами). Не гони, ты стрелял в кого-то, кто с тобой словами?

Яся Артельман (словами). Кам он, это же не люди, они как были тупые, так и тупые, ты же знаешь, они же не поумнели, а...

⁹ «К ебаной матери» (ивр.)

¹⁰ Хозяйство, ферма (ивр.).

Ури Факельман (словами). Они не поумнели, они просто заговорили. Не лечи меня, а?
Яся Артельман (словами). Я не этого ссу. Я ссу, что мы сейчас дверь откроем, а они вжик и умотали. С утра все поняли и стоят такие, ждут.

Ури Факельман (словами). Они же тупые, нет?

Яся Артельман перекладывает автомат на другое плечо, становится у Факельмана за спиной в позе вратаря перед одиннадцатиметровым, раскидывает руки.

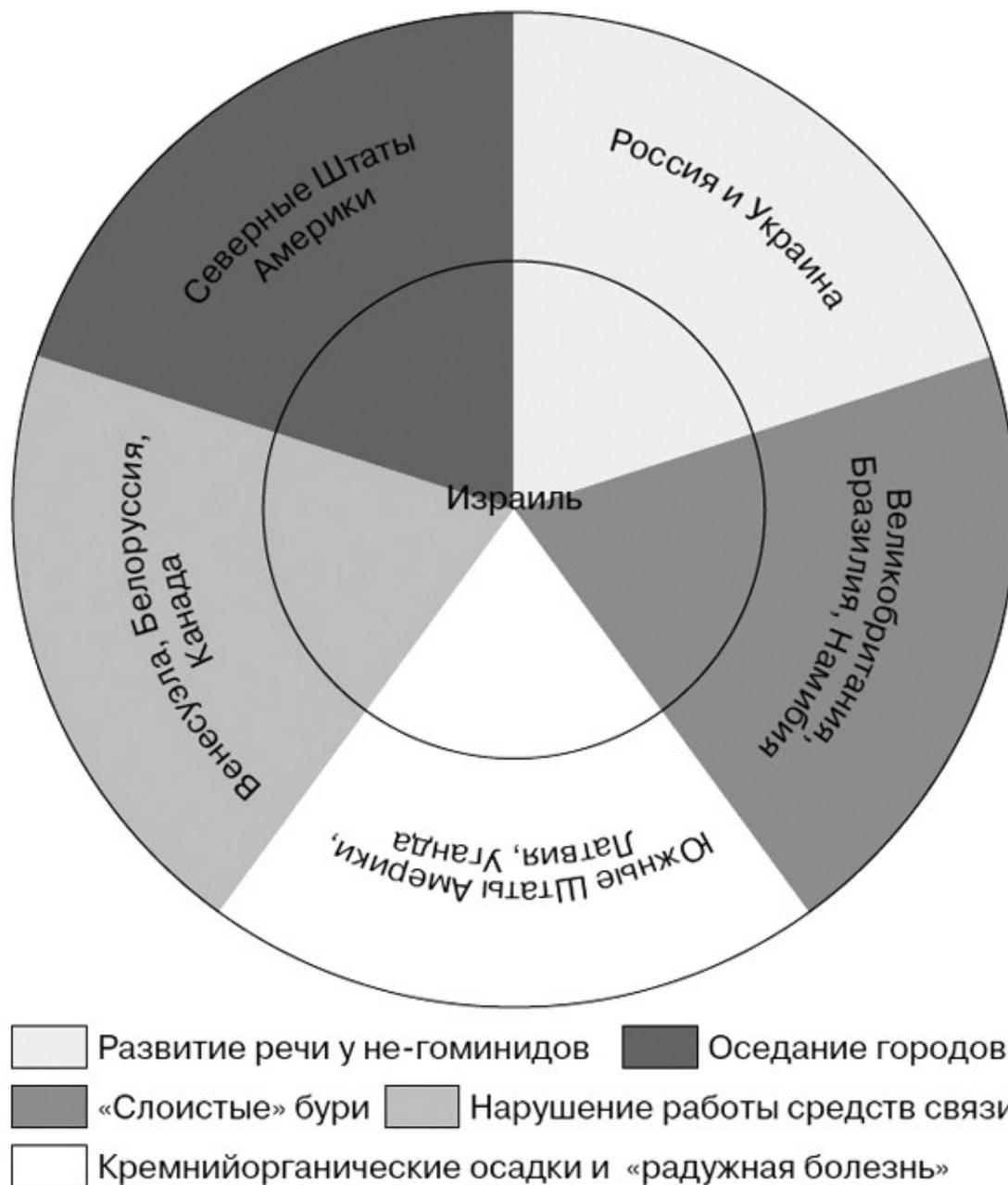
Яся Артельман (словами). Поехали.

Сорок Третий (словами, громко, визгливо). Ай! Ай!

Ясю Артельмана рвет.

4. «Вики»

Тряся коленкой, Михаэль Артельман принялся писать коммент, дописал до «изволите полагать», заметил коленку, заставил себя выдохнуть и быстро скрестил ноги. Шестой пункт бесил его настолько, что он тряс коленкой (а это обычно только когда очень больно или уж если разозлиться до белизны). Седьмой, впрочем, тоже бесил. Особенно если считать, что ни шестой пункт списка, ни седьмой не имели никакого права на существование, поскольку реально зафиксированных феноменов было пять, а все остальное, по глубокому убеждению Михаэля Артельмана, было вовсе не признаками асона, а признаками неумения следовать формальной логике, отдавать себе отчет в происходящем, читать, что написано черным по белому, удерживаться от истерики – ну, понятно. Михаэль Артельман не склонен был к участию в интернет-срачах, и бесконечные списки «Ликов асона» вызывали у него обычно не это, коленное, раздражение, а другое: тупое, ноющее, быстро переходящее в усталую скуку. Но на этот раз очередную картинку со списком перепостил Виктор Бозин, выпускающий редактор «Резонера». В «Резонере» Михаэль Артельман печатался раз в пару месяцев, а когда-то, пока не выдохся, вел колонку: маленькие реальные истории (в литературной, конечно, обработке), всякое увиденное и услышанное, цайтгайт. Впрочем, сейчас он собирался возобновить колонку, что-то открылось в нем опять такое. Виктор Бозин был старый друг и человек безупречной рукопожатности, а у Михаэля Артельмана было железное правило: всегда беречь своих и уж тем более никогда не сражаться с ними публично. Но восемь ликов асона! Восемь, значит. А главное, картинку Виктор Бозин сопроводил текстом в таком духе, что, мол, «нет сил ничего добавить», и что «только мутная вода собственного бессилия – и еще чувство вины за вещи, не имеющие к происходящему никакого отношения. Просто за себя и за прошлое. И за слабость перед близкими, которые сейчас в Израиле, за недостаточную любовь, за мелочи, на которые разменялся». Тут оставить бы человека в покое: сейчас все метались между истерикой и оцепенением, все чувствовали себя свидетелями апокалипсиса, но какого-то вялого и пустого, понарошечного: не то завтра умирать, не то просто ушлые собачки теперь у каждого метро будут выпрашивать «на еду деткам», а в остальном живем и жить будем – по крайней мере здесь, в Москве. Но Михаэль Артельман едва не потерял терпение и не написал Виктору Бозину вот это вот ерническое и недостойное «изволите полагать», а дальше про то, что доти-стромоз, из-за которого стали ярко-красными иголки большинства хвойных растений на территории Европы, случается уже второй раз за последние пять лет и вызван грибом *Dothistroma septosporum* (просто в этот раз цвет поярче и территория побольше). И еще про то, что пункт «Животные изрекают пророчества» – это бред, хуйня; тот факт, что животные что-то изрекают, – это да, это ничего себе, а пророчества любой городской сумасшедший изрекает – Вы же, Витя, не постите это у себя, правда? О том, что «Все лики асона берут начало в Святой Земле», Михаэлю Артельману даже начинать разговор не хотелось, он собирался просто запостить из «Википедии» вот это:



Схема, иллюстрирующая географическое распространение пяти основных составляющих асона

– и надписать даты: животные в Омске заговорили (смотри ту же «Википедию») на неделю раньше, чем поступило первое внятное сообщение из Рахата; плюс оседание Бостона случилось 25 марта в 14:11, а Беэр-Шевы – только через 7 минут 17 секунд после этого. Да, на бедном Израиле, как ловко пошутил Гаврилов, в этот раз действительно «сошелся клином белый свет», но «берут начало» – извините. Вместо того чтобы размазать пункт восемь, Михаэль Артельман собирался просто написать: «С другой стороны, Витя, спасибо, что не „Семнадцать ликов асона“ и не „Пятьдесят шесть ликов асона“, а то гуляет по сети и такая красота. Ну правда, всем тяжело, но давайте хоть те, кто в своем уме, продолжают оставаться в своем уме?» Потом ему, Михаэлю Артельману, было бы тошно и стыдно, и день пошел бы насмарку, и он бы не написал тому же Виктору Бозину по делу, по которому собирался написать; вместо этого он бы сидел, адреналиново тряся в ожидании Витиного коммента, а потом адреналиново

трясся бы при написании собственного коммента на коммент, а потом еще бы подтянулись всякие умненькие, и все это был бы какой-то позор и недостойная гадость. Спасла коленка и то, что заставило Михаэля Артельмана обратить внимание на коленку: одна из участниц срача постила голосовые комменты, и автоматический TTS разворачивал их для быстрого просмотра таким способом, что получались тексты с неуловимой Илюшиной интонацией. Ровно с той интонацией – припомнил Михаэль Артельман и немедленно затосковал, – от которой в мучительный период предразрыва он начинал дергать коленкой: как бы рациональный разговор происходит у людей, как бы предлагают тебе «обсудить», или «выработать схему, по которой мы...», или «найти способ, чтобы друг друга не...», но в самом строении фразы обнаруживается нечто выматывающее, ноющее, делающее Михаэля Артельмана немедленно во всем виноватым. Во время одного из таких разговоров Ясик Артельман, тогда, кажется, семилетний, ползал по-пластунски под искусственной елкой (а настоящие в Тель-Авиве под Новый год делались так дороги, что Артельманов перекашивало; интересно, как сейчас, – впрочем, кому там сейчас до елок?) и время от времени гнусавил с интонацией, невыносимо напоминающей Михаэлю Артельману интонацию мужа: «Папа, ну для чего ты этого делаешь? Папа, ну не делай этого, ты все нарушаешь!» Что именно тогда хотел «обсудить» или «выработать» Илья, теперь не вспомнишь, но Михаэль Артельман помнил, что большая часть усилий уходила у него на попытки не вдохнуть с наслаждением и не выорать мужу всеми мышцами живота, в каком именно месте сидят у него Илюшины «вырабатывания». Помня кое-какие предыдущие эпизоды, Михаэль Артельман сел тогда себе на руки и сделал так, чтобы уши словно бы заложило, и вместо Илюшиного резонерства слушал, наученный престарелой своей терапевсой, внутренний голос, принявшийся перечислять названия тайных комнат и тихих укрытий в его, Михаэля Артельмана, внутреннем дворце, – это помогало. Поэтому и Ясика он слышал не очень хорошо, но интонация сквозь заложенные уши проникала отлично, мать твою. Он успел добраться до «Синей бархатной ниши» (бу Аниш Капур), когда вдруг стало очень больно и очень громко, он вскочил, Ясик Артельман глядел из-под елки – перекошенная мордочка, разинутый рот, – а Юлик Артельман молчал, держась за подбородок, и несколько секунд Михаэль Артельман провел в состоянии черного ужаса, глядя не на старшего сына, а на свои отсиженные руки: как им удалось? И еще: почему на них не осталось ощущения удара, хотя обычно?.. Ах, черт, да он не специально и не рукой, а ногой – нет-нет, не подумайте, произошло вот что: оказывается, он дергал коленкой, а от этого дрожал стол, и от этого дрожала глянцевая ветка, и от этого дрожало что-то важное, что Ясик там, под елкой, обхаживал и обустроивал, и пока Ясик заунывно просил папу «не нарушать», Юлик Артельман поступил, как поступает Юлик Артельман: молча обхватил своими длинными железными пальцами папино колено и попытался зафиксировать его намертво. Ну, простите, рефлекторно получил мягкой тапочкой в подбородок; ну, прости, котинька, сыночка, прости, Юличек, я не хотел, извини меня (гладит воздух у сына над головой, Илья Артельман замер, раскручивается в комнате тугая пружина испуганного ожидания, Юлику Артельману двенадцать, и он весь длинный, жилистый, сухой, во время приступа с ним трудно справиться даже двум взрослым мужчинам, Илья Артельман медленно обходит полукруг, чтобы оказаться у сына за спиной, они с Михаэлем Артельманом быстро обмениваются взглядами, система давно отработана: если начнет кидаться вперед – ты, если станет валиться на спину – я, что глаза? – вроде ничего, вполне сфокусированные – Ясю закрой – Яся Артельман сам рванул под елку подальше, там что-то хруп-хруп – ладно, это потом разберемся – готовы? Вроде готовы). Глаза у Юлика Артельмана, кажется, сфокусированные; а вот он набычил голову, это совсем хорошо, а вот поднял – совсем сфокусированные глаза, да неужто обошлось? Кажется, что-то вспоминает, вспоминает, что надо сказать, ну-ка, Юлик, раз-два-три, раз-два-три?..

– Я хочу сказать: я в порядке, спасибо, не нужно волноваться.

Ай да Юлик Артельман, ай да умничка, ай да Илья Артельман (взглядом: «Это твои успехи»), ай да Михаэль Артельман (взглядом: «Да ладно, это и твои успехи, несмотря на...»), так, я собираюсь делать себе чай, Яся, ты с утра не ел, тебе кцицот или курицу? Юлик, сейчас я дам тебе чай в твоей средней чашке, потому что ты выпил сегодня 850 миллилитров, сколько еще нужно? – правильно, и в среднюю тарелку положу тебе одну кцицу слева и одну куриную голень справа, это будет ровно через три минуты, садись, приготовься, Ясик, что? Ясик, почему вой? Ясенька, что случилось? Илюша, ставь Юлику еду, ну время же идет, Юлик, все хорошо, Юлик, Ясик в порядке, не надо Ясика хватать, нет, Юлик, елка!!! Блядь, Илья, осколки, осторожно, Ясенька, что такое, стой, стой, я достану, что у тебя там такое, блядь, Ясик, что это такое?!

Судя по ответу, это ыыыээээаыыыыаааа!!!

Сколько же им в этот момент лет? Нет, Ясику Артельману не семь, а, что ли, восемь – значит, Юлику Артельману тринадцать, как раз между двенадцатью и тринадцатью он вдруг стал ОГРОМНЫМ и железным – и, честно говоря, довольно страшным, и отцы его ни разу не обмолвились об этом ни словом, но когда Юлик Артельман однажды вдруг долгим сухим взглядом проследовал за мокренькой киской вдоль бортика паркового бассейна, Илья Артельман медленно приподнялся из шезлонга, как охотник приподнимается на стременах; к счастью, из всех живых существ бедный Юлик Артельман по доброй воле общался только с Яськой. Итак: Юлик Артельман в одних носках стоит посреди радужной, нежной, золотой и красной игрушечной скорлупы, Ясик Артельман висит на нем, как обезьянка, и воет-воет, ну, теперь уже ничего не поделаешь, Юлика Артельмана нельзя двигать, Ясика Артельмана нельзя от него отдирать, Илья, оставь, ждем, кот, зайди ко мне с той стороны, только надень тапки; блин, реально? Сейчас мы будем разбираться, почему на мне твои тапки? Я тебя умоляю, надень ЧТО-НИБУДЬ и зайди с той стороны, у меня рука в каком-то говне, что они туда натащили? Клетчатый барский зад Ильи Артельмана в домашнем мяконьком халате мяконько колыхнется, когда Илья Артельман лезет под елку, Ясик орет и вырывается, вот же и от Юлика Артельмана в кои-то веки польза, из рук Юлика Артельмана не вырвешься, хехе. Михаэль Артельман нюхает желтую слизь на пальцах: пахнет свежим и, что ли, молодым. Клетчатый мягкий зад обратно вправо-влево, господибожемой, это что? «Новое Простоквашкино: базовые задания для формирования Жизненной Стратегии Творческой Личности у детей в возрасте 0–3 лет».

Сейчас, дети, вы получите доказательство того, что Михаэль Артельман, вопреки всем психотерапевтическим инсайтам своего бывшего мужа, – хороший, хороший человек: Михаэль Артельман не ржет. Илюша, пунцовый отнюдь не только от физических усилий, для него непривычных, книжку отшвыривает в сторону и ползет обратно, ель звенит и мяконько колыхнется, Илья Артельман делает второй заход. Михаэль Артельман – хороший человек: он не кричит вслед мужу: «Там еще второй том должен быть!». О, висящее над домом Артельманов проклятие Альтшуллера: вдоволь побившись над бедным Юликом Артельманом («Ты его еще Визбора играть поучи!»), Илья Артельман после появления на свет Ясеньки Артельмана начал формировать у младшего сына Жизненную Стратегию Творческой Личности с почти уже отчаянным рвением – и крошечный Ясенька Артельман полностью оправдал папины проективные надежды. В три месяца Ясенька угукал быстро, когда у двух предметов обнаруживались подсистемные общие признаки, и медленно – когда надсистемные («Я тоже так могу, Илюшенька, смотри: я простой человек, поэтому моя жопа и Новый год имеют общие подсистемные признаки, а твоя жопа и Новый год – надсистемные!»). В годик с небольшим мог объединить две картинки не по цвету. В два бойко лепетал, что у нас оперативное время («Мусечка, вот мы делаем Юлику ванну, у нас оперативное время какое?» «Сицяс!» «А оперативная зона?» «Ванья!»). В три задавал гостям задачки, живущие у самой дальней околицы чертова Простоквашкина («Я буду в теремке, а Миша будет гитара, а Мира... а Мира будет...» – бездетная Мира Новаков, трепетавшая неразделенной страстью при виде всякого дитяти, готова быть

Ясенке кем угодно; Мира будет яблочком! Мира Новаков будет папе Мише любовницей, Мира Новаков уже прекрасно это понимает, один папа Миша не понимает, но скоро поймет, буквально через месяцок). И вдруг все, все. Обложка второго тома «Простоквашкина» (и как же Михаэль Артельман ненавидел эту разбитную лишнюю «к», вот все у них так) вдруг оказалась не увитой кисусом¹¹ калиткой в сказочный сад Рациональных Изобретений («Кстати, Илюша, а чего все на русском, вы что, до сих пор весь свой молитвенный корпус на священный язык не перевели?»), а ржавыми воротами в Илюшин персональный ад. Дело застопорилось намертво, бедный Ясенка путал ОЗ с КП, а КП с ИКР, рыдал и маялся, Илья Артельман тоже маялся и только что не рыдал, и однажды Михаэль Артельман застал мужа за позорными попытками измерить Ясенкин IQ презренным тестом Айзенка. Дальше был даже не скандал, а какая-то душераздирающая сцена, Илью Артельмана было прямо жалко, все страхи наши с ним полезли наружу, и я убеждал его, что ничего подобного тому, что случилось с Юликом Артельманом, с Ясенкой Артельманом не происходит, что Яся Артельман прекрасный умный мальчик, что Илья лучший на свете папа, просто прекрасный умный мальчик – это же не обязательно Простоквашкино, да? «Ну да, ну да, извини, чего я реву». «Ну какое извини, ты мой котинька, мне тоже страшно, я тоже еле удерживаюсь от этого Айзенка (Илья сдавленно всхликивает), но ты же понимаешь, да, что никаким образом ничего, похожего на Юлика...» «Я понимаю, мне самому стыдно, я просто, ну, очень страшно». «Ты мой, и я так тебя люблю». (Не в последний ли раз тогда были сказаны эти слова, между прочим? Интересное дело: когда-то же они говорят в последний раз; по крайней мере, Михаэль Артельман – вернемся-ка для соблюдения удобной дистанции к 3-му лицу, ед. ч. – твердо помнит, что в тот момент испытал, говоря мужу это самое слово на букву «л», сильную и горькую неловкость). Тут бы веревочке и перестать виться, Простоквашкину бы вымереть, обезлюдеть, порастить быльем – но экий казус: Яся, ненавидевший том второй, без первого тома жить не мог. Он продолжал таскать закапанную детским питанием «кэвес вэ-крувит»¹² книженцию по квартире, продолжал громогласно сообщать Илье Артельману давно выученные наизусть подсистемные и надсистемные общие признаки ежа и лопаты и не мог, бедняжка, понять, почему вдруг «Ясик, дай тете Мире поесть спокойно, Яся, ты уже знаешь ответ, Ясик, дай Илане поговорить с папой». Дважды Михаэль Артельман запихивал чертово Трашкино-Тараташкино в горние ебеня Илюшиных книжных полок – и дважды Ясик Артельман магическим образом возникал перед отцами с проклятым томом. Однажды Илюша всплакнул, Михаэль Артельман пошутил насчет Фриды и платка, случился срач, Михаэль Артельман пожаловался Мире Новаков, Мира Новаков, как всегда, пожалела не того, кого надо (вот же потрясающий талант у женщины), вышел срач-2. Михаэль Артельман в то время, кажется, только и делал, что срался, срался, срался, и ненавидел себя, и срался со всеми, и только в этой ситуации, возле неживой елки, посреди пола, засыпанного неживой острой скорлупой, они с Илюшей плясали ладно, как шерочка с машерочкой. Пока шерочка тяжело дышит и душно шебуршится, тшась нащупать и вытащить, машерочка мягко мяучит и мысленно мелкому маячит: «Ясенка, ягодка моя, слезай давай со своего брата окаянного, повыл и хватит, потому что у Юлика Артельмана уже начала дергаться коленка, мне ли не видеть, поэтому подбирай сопли и на счет три приземляйся, подбирай сопли и тихо-тихо уводи отсюда Юлика, как только ты умеешь, мой сообразительный мальчик, а то кончится так, как это уже пару раз кончалось, что-то для Юлика Артельмана многовато переживаний на один день, и это он еще не видит часов из-за твоей макушки и не знает, что его обед запаздывает на семнадцать минут». Ясенка Артельман не хочет слезать, Ясенка Артельман хочет и дальше висеть на старшем брате, тихо подвывая, но он, вопреки Илюшиным подозрениям, и правда сверхспособный мальчик, он чувствует, что пальцы Юлика Артельмана у него на спине

¹¹ Плющ (*ивр.*).

¹² Баранина с цветной капустой (*ивр.*).

стали каменными, и Юлик Артельман весь трясется мелкой тряской. Ясик Артельман начинает медленно высвобождаться, высвобождается, слезает, Илья Артельман все еще копошится под елкой, и Яся Артельман вдруг снова давится всхлипом, но берет себя в руки, умничка такой. Илья Артельман под елкой вдруг взвизгивает и с приличной скоростью начинает выбираться из-под елки, но вдруг замирает: «Миша, убери их». Стоп, Юлика Артельмана нельзя убрать, у Юлика Артельмана же в ногах осколки – нет, у Юлика Артельмана в ногах чудом нет осколков, вот счастье, Юлик, стой на месте, Юлик! Но Юлик Артельман осторожно туп-туп, туп-туп, каждый раз поворачиваясь ровно на девяносто градусов и считая для спокойствия «раз-два-три, раз-два-три», как его учили в группе, – и вот он уже в безопасности, Юлик Артельман сегодня прямо бог, а не Юлик Артельман. Яся, хватит, собрались, давай: ты сейчас ответственный за то, чтобы вы с Юликом пообедали, ты справишься? И тапки надеть!!! Ясик Артельман справится, через минуту из кухни уже раздастся звонкое про среднюю тарелку, кцишу слева, голень справа, Юлик Артельман шаркает тапками, нехорошо ходит кругами, но шаги становятся все медленней, Яся Артельман молодец.

– Ну?

У Ильи Артельмана в руках пластилиновый покореженный домик с какими-то комнатками, подстилочками и дверочками. Илья Артельман осторожно ставит его на пол, и в ладонях у Ильи Артельмана остаются две крошечные ящерицы: одна лежит на спине, хрупкая и сухая, как веточка, а вторая на боку, очень тихая, почти прозрачная, маленькое брюшко слабо подрагивает; у обеих поперек тела нитки от Иланиного вязанья, крепкие, голыми пальцами не перервешь, Илье Артельману пришлось отодрать от елки тонкую пластмассовую ветку, к которой они были привязаны. Под мышкой у Ильи Артельмана книжка-говоришка, нажимаешь кнопку, она тебе: «баран!», «свинья!», «пес!», ты показываешь животное на картинке, показал правильно – книжка нежно позвякивает Моцартом, ура-ура. Карман Илюшиного халата топорщится мелкими углами: это пара кубиков, бросаешь одновременно – и: «Ясенка, давай: что общее? Что разное? А если у нас нет первого, как мы будем вместо него обходиться вторым?..»

– Нет, ты подожди, это не все.

Илья Артельман разжимает кулак, там пустая мокрая скорлупа от очень маленького яйца, вся в желтом и слизком. Первое животное было очень перспективное, объяснит потом Яся, но из него появились яйца и оно засохло (Юлик Артельман: «Я хочу сказать...» «Юлик, ради бога, не сейчас!» Юлик Артельман: «Нет, я хочу сказать: я объяснял. Яся маленький, Яся поступает глупо, я объяснял, он меня не слушал»). Это нестрашно, потому что второе животное тоже очень перспективное, даже перспективнее, чем первое, объяснит потом Яся Артельман. (Юлик Артельман: «Яся, ты идиот. Яся, ты идиот. Яся, ты идиот. Яся, ты идиот». «Миша, он начинает раскачиваться! Юлик, не раскачивайся! Юлик, Юлик, смотри на меня, смотри на меня!» «Я хочу сказать: я в порядке, спасибо». «Ну блядь». «Миша!..»). В зоомагазине Илье Артельману отсыплют немножко опилок и дадут какой-то корм, «но вообще в этом состоянии вы бы попробовали пипеткой сладкую воду, может быть...» Глупый Илья Артельман поедет с банкой в ночную ветеринарную клинику, глупый Илья Артельман будет писать в телеграм и рассказывать в полвторого ночи, что доктор сказал то и доктор сказал это (хотя на самом деле все будет сводиться к мягкой тряпочке и сладкой воде из пипетки и к «может быть...»). Глупый Илья Артельман будет читать «Википедию» до полчетвертого утра (Юлик Артельман: «Я уже все прочитал, ты можешь не читать. Существует цикл интеллектуального развития. Вовлекается кора головного мозга. Сейчас я все объясню». «Юлик, бога ради, только не твое „объясню“, дай мне прочитать спокойно, бога ради!»). Глупый Илья Артельман очень тихо поставит банку в заоблачные ебенья, молча поставит, как будто это самое нормальное место для банки с ящерицей, как будто нет никаких причин ставить банку с умирающей зверушкой в заоблачные ебенья, а умный Михаэль Артельман поднимется с постели без четверти четыре утра – и никакой банки не станет, и Михаэль Артельман включит свет, и снимет с елки все

игрушки, и разберет елку на мертвые ветки, и замотает их хорошенько пищевой пленкой, и отнесет на балкон, и вымоет пол, и погасит свет, и вернется в постель к мужу, который будет лежать с закрытыми глазами и бояться пошевелинуться и утром не скажет ничего, раз-два-три, раз-два-три. «Илья, ты хочешь что-то сказать?» «Нет, ничего». «Пожалуйста, не ходи с таким лицом, если ты хочешь что-то сказать – давай, скажи» (не надо трясти коленкой, раз-два-три, раз-два-три, раз-два...) «Хорошо, если ты настаиваешь, я скажу, я хочу сказать: я много думал ночью и сумел сформулировать четыре фактора, четыре, четыре фактора, которые делают, которые делают тебя, при всем твоим фантастическим интеллекте, при всей твоей платиновой, головокружительной рациональности, при всей логичности твоей – неполноценным, непробиваемо, безнадежно неполноценным и недоразвитым, ничего ты не можешь создать, никакая жизнь рядом с тобой не может существовать, ничего ты не можешь породить – хочешь, четыре фактора я тебе назову, ровно четыре фактора, хочешь ты?..»

Это был последний раз, когда Михаэль Артельман ударил мужа (восемь, восемь раз: в живот 2 р., по ногам 5 р., по лицу 1 р.) – и вот мы здесь: я хочу сказать, вы изволите полагать, у асона тридцать три фасона, и за окном Простоквашкино, Москвашкино, все это снежное кино, все это снежное кино, и ушлые собачки бегают по внутреннему дворцу Михаэля Артельмана, просят деткам на игрушки, на развивашки.

котик, пыльный с ошейником тощий котик, пыльно-дымчатый котик, пятнистый котик дышат, переглядываются, молчат. Ветер похрустывает мясным полиэтиленом, скребет по асфальту золотой этикеткой. Пятнистый котик решается.

6. Мачеха

Вл. Ермилову

Он опять назвал Дану «Дорой» – и опять подумал, что будь дочери не десять, а двенадцать лет, реакцией на его ошибку было бы едкое подростковое раздражение вместо нынешнего дурашливого смеха. Иногда ему приходилось делать паузу, прежде чем окликнуть дочь – соленую и перемазанную мокрым песком, – когда она и ее обожаемый, вечносопливый вислогубый Марик Ройнштейн подбирались слишком близко к воде или когда нужно было в последнюю секунду сунуть в руки маленькой растеряхе, уже пробивающей себе путь вглубь школьного автобуса, очередную забытую дребедень. Сейчас Марик Ройнштейн бессильно хлюпал носом – стоял сусликом, покачиваясь вправо-влево, слабо отражая тельцем энергичный и яростный рисунок движений Даны Гидеон. После окрика дочь на секунду отвлеклась от своего важного дела и расхохоталась – вот же рассеянный папа! – а Дора осталась стоять, поджав одну ногу и держа в зубах уже основательно обслюнявленный бумажник. «Ты капнул мясом, и она его лизала!» – прокричала дочь. Она всегда кричала, мир словно не умещался в ней целиком и рвался наружу – криком, скачками, хохотом, внезапными рыданиями безо всякого повода, дурацкой идеей схватить со стола кошелек, когда собака его облизывает, чтобы та, конечно, немедленно вцепилась в него зубами. Можно было тихо взять кошелек, вытереть салфеткой и отдать отцу – но нет. Как это часто бывало, его окрик сперва вызвал залиvistый смех из-за перепутанного имени, но потом Дана Гидеон как-то медленно погасла, и на лице ее появилось то же пустое, вислогубое выражение, которое бесило его у Марика Ройнштейна. Он давно перестал давиться, как прежде, внезапным чувством вины перед дочерью – чувством жирным, многослойным, густо присыпанным колючей крошкой маленьких, но особо мерзких родительских промахов; теперь у него во рту просто всегда стоял привычный вкус вины, и он все реже обращал на этот вкус внимание, и за это тоже чувствовал себя виноватым. Он велел Дана Гидеон перестать ковыряться в ухе, а Доре – отпустить бумажник, и бумажник тут же шлепнулся на пол. В нелепо маленькой и катастрофически забитой кухне гостиничного люкса он нашел салфетку, поднял мокрый бумажник и брезгливо понес в ванную – обтирать мыльной тряпкой. Собственно, ничего бумажного в бумажнике, естественно, не было, но идея целиком сунуть его под кран казалась идиотской. Он опаздывал. Дора стояла в дверях и молча смотрела на него, Дана с Мариком тихо ушли в коридор, он услышал, как постепенно голос дочки снова наливается звоном (бедный часовой, миллион вопросов – и на половину из них он не вправе давать ответы), и малодушно подумал, что преувеличивает, что его бесконечное гавканье и рывканье не оставляет в Дана Гидеон никакого долгого следа, ничего страшного, Дана Гидеон умная девочка, Дана Гидеон знает, что папа ее любит. Он прислушался, и ему показалось, что Мариково хлюпанье долетает даже сюда. Что поделаешь, «мы – Израиль, у нас сирот не бывает». Несколько секунд алюф¹³ Цвика Гидеон с Дорой смотрели друг на друга молча, и вдруг приступ панического страха в очередной раз накатил на него, и он понял, что снова пытается вычитать в ее длинных темных глазах ответ на мучающий его вопрос. Дора дышала, влажные волоски у черной кромки пасти ритмично шевелились; на секунду ему показалось, что собака смотрит на него нехорошо, исподлюбья – или нет, или наоборот, как-то косо, и что лучше – косо или исподлюбья? Он почувствовал, что у него немеют щеки и намокает шея, и тоже задышал глубоко, и быстро отвел глаза от Доры. Сердце его колотилось. Панические атаки стали привычными с того самого дня, как Илана Гарман надавила на него, с того дня, когда отступить стало некуда, с прошлого вторника. Боясь посмотреть на Дору, он вдруг ска-

¹³ Генерал (*ивр.*).

зал тоненько, как мальчишка: «Хочешь мяска?» – и от этого заискивающего «мяска» его пере-дернуло, тем более, что Дорин паек кончился, следующая раздача должна быть через четыре часа. «Не», – сказала Дора (слава богу), и он с облегчением сказал (эдак бодренько): «Ну, как хочешь!»

Иногда собаки случайно съедают что-нибудь ядовитое и умирают. Иногда прыгают за птицей, падают с балкона и разбиваются.

Через четыре часа Илана Гарман уже будет здесь, а он еще будет в штабе. От этой мысли у него опять онемели щеки. Он в сотый раз подумал, не взять ли Дору с собой в штаб, не пошутить ли как-нибудь про то, что эта сучка ни на шаг его от себя не отпускает – или, наоборот, что это вроде традиционного «Дня профессий», как когда на работу приводят ребенка. Дебильная идея, он опаздывал, надо идти, а они с Дорой все смотрели друг на друга (почему, почему всем не спалось в пять утра? Иногда он думал, что эти невыносимо ранние поголовные вставания – тоже признак асона, но все было проще: людей поднимала *маета*, вот что). Потом неразговорчивая Дора развернулась совершенно внезапно и потрусилась в коридор, где Дана Гидеон скакала по клеткам бесконечной ковровой дорожки, уча Марика Ройнштейна бесконечной игре под бесконечную кричалку. Он опаздывал, но дождался момента, когда кричалка прервалась на последнем задыхающемся «...са-ла-мат!»¹⁴. Топ-топ по мягкой дорожке, прочь, на пляж, на узкий, хорошо охраняемый квадрат песка, где каждый день играли или занимались с хорошо охраняемой учительницей (бывшей медсестрой) одни и те же хорошо охраняемые дети. Несколько дней назад он попытался встроиться в какую-то их пляжную игру – подбежал легкой трусцой, скинул сандалии, бодренько («Хочешь мяска?») закричал: «А вот кто на генерала? А? Кто на генерала?» Дочь, только что скакавшая с мячом вправо-влево и делавшая вид, что ее хлюпающий носом суслик способен перехватить атаку, тут же уронила мяч на песок и медленно провела грязной рукой по лицу. Он не мог сдаться сразу, немножко попрыгал по песку туда-сюда, а потом сделал вид, что направлялся не к детям, а к воде, к водичке; снедаемый неловкостью, он обернулся, чтобы помахать детям рукой, ветер подбросил в воздух пригоршню песка, и радужный блеск вдруг создал для алюфа Цвика Гидеона неприятный персональный мираж: ему показалось, что Марик Ройнштейн смотрит на него с нехорошей, взрослой язвительной улыбкой. Он впервые заметил, что у Марика Ройнштейна начал выпирать кадык.

Алюф Цвика Гидеон проверил, в бумажнике ли пропуск для Иланы Гарман, и на выходе отдал этот пропуск часовому, идиотски улыбнувшемуся в ответ, как будто ему доверили любовную тайну. Чтобы дурень не мнил о себе бог весть что, алюф Цвика Гидеон строго и громко сказал ему: «Моя будущая жена с сегодняшнего дня переселяется к нам. Вот ее пропуск на случай, если она придет раньше меня», – и, не глядя на часового, пошел к лестнице, вниз, в подвал, в обшитый кафелем и сталью, обвешанный дуршлагами и половниками чрезвычайный штаб Южного округа. Все дуршлагы были никакими, а один – огромным, тяжелым, мятым, похожим на пьяное лицо с запавшими глазами; вроде этот дуршлаг лично принадлежал какой-то кулинарной знаменитости, вроде в меню гостиничного ресторана были какие-то блинчики по адовой цене, и муку для этих блинчиков просеивали только через этот дуршлаг уже пятьдесят лет. Сколько прелести в таком гастрономическом выпендреже! На первое свидание, всего за несколько недель до асона, он повез Илану Гарман в холодный и темный русский ресторан, вычитанный им в газете для тех, кто считает себя сильно умным (сам он любил читать там про еду и музыку и еще смотрел, нигде ли не упоминают его самого). Официант в мягкой белой рубашке долго рассказывал про каждый пункт в меню, и почти все названия были чьими-то нечитаемыми фамилиями на «-ов» и «-ский», и деликатная Илана Гарман сказала, что зака-

¹⁴ «До свидания!» (араб.)

зывать в русском ресторане черную икру – это пошлость, так что они ели крошечные порции крошечных кисунэй-басар¹⁵. Илана Гарман пыталась объяснить ему, что это никак не кисунэй-басар, а совершенно другое блюдо, которое только выглядит, как кисунэй-басар, но на самом деле его лепят с сырым мясом внутри. Он так и не смог произнести название этого блюда правильно. Вернувшись к себе, он быстро сунул в микроволновку четыре сосиски и съел их стоя. Будь в этом русском месте нормальные порции, он бы не спешил домой, а первое свидание могло бы закончиться постелью – и обернуться простым стуцем¹⁶. Второго свидания у них не было – оно оказалось как бы не нужным, они как бы просто начали жить дальше хорошо установленной семейной жизнью, словно Илана Гарман уже шесть лет водила Дану Гидеон к врачу, когда та заразилась от Марика Ройнштейна какой-то глазной дрянью (и Марика заодно взяла с собой, добрая женщина). Словно сказать ему, что он должен чаще мыть голову, – совершенно нормально. Словно она вообще не знала, кто он, собственно, такой. Конечно, она знала, кто он, собственно, такой и что с ним произошло, но ни разу ни о чем не спросила. Наверное, она ждала какой-то безмолвной награды за свою тактичность. Он знал, что на самом деле ее снедает вечная бабья жадность (или просто человеческая жадность, уж он-то навидался такой жадности за годы, прошедшие со смерти жены): расспросить, вызнать; но еще сильнее была жадность другого рода: оказаться доверенным лицом. Он не рассказывал ей ничего и получал от этого несколько непристойное удовольствие: обычно ему не нравилась подобная тяготица, игра в молчанку, тихая и вечная супружеская битва за крошечные значки личных тайн. Но. Но. Илана Гарман мечтала зарыться с головой в глухую, темную, всей страной обсопанную драму шестилетней давности, окружить его величественным мрачным сочувствием, зализать его раны (он привык, что женщины липли к нему, выдавая информационную жадность за сострадание, как только узнавали в нем Того Самого Алюфа). Илана Гарман хотела страдать вместе с ним и наслаждаться своими самоотверженными муками – а у него в голове постепенно складывалось нечестное, но приятное уравнение: словно бы радость, которую вся эта ддрдрдрдррама приносила Илане Гарман, в какой-то мере искупала ужас, выпавший на долю бедной Шуши в ночь ее черной смерти. Правды о происшедшем Илане Гарман не видеть, как рыбке своей пиписки, но он планировал по капле поить эту женщину тем, что вся страна считала правдой. Да, по капле, по полслова – здесь трагическое умолчание, там кривая усмешка, – чтобы Илане Гарман хватило надолго, чтобы она понимала, как много она для него значит, как сильно он хочет научиться раскрывать перед ней свое измученное сердце. Втайне он еще и лелеял важную догадку: страдания, перенесенные им когда-то, – это индульгенции, которые можно реализовать сейчас. Он не собирался этим пользоваться, мысли такого рода добавляли к постоянному серому вкусу вина во рту еще один оттенок, но вот сейчас, проходя мимо отключенных лифтов с зеркальными дверями, он представил себе, как Илана Гарман стоит за его плечом, а он медленно проводит рукой по хорошо сохранившимся волосам и вдруг говорит: «Шуши не верила, что я поседею». Лицо Иланы Гарман в зеркале изменится, выражение станет одновременно страдальческим, сосредоточенным и значительным, и это сделает их ближе. Вспомним сюжетец: он дал официанту в белом сюртуке с крошечным мясным пятном у кармана свою кредитку, но разрешил Илане Гарман положить в папочку со счетом пятьдесят пять шекелей чаевых. «Я не люблю наличные», – сказал он, ничего особого не имея в виду, и вдруг ее лицо стало серьезным и нежным: о, самоотверженное женское сострадание; о, тихое понимание; о, деликатная поддержка. Ну да, ну да, после истории с выкупом, с провалившимся выкупом, со срезанной татуировкой («Маленькая черепашка, покрытая запекшейся кровью, потрясла следователя, когда он пинцетом извлек содержимое из конверта, подсунутого Гидеону под дверь», – своим бежевым замшевым слогом писала газета для тех, кто считает

¹⁵ Вареники с мясом (*ивр.*).

¹⁶ Перепихон, одноразовый секс без обязательств (*ивр.*).

себя сильно умным). После такого любой человек имел право невзлюбить наличные, и предположение Иланы Гарман было совершенно резонным. Увидев выражение ее лица, он решил ничего не объяснять, не говорить, что наличные действительно всегда были ему неприятны, что в прилюдном пересчете денег он видел нечто непристойное. Илана Гарман имела право воображать... ну, что? Как он дрожащими руками запихивает триста двадцать тысяч наличными в потертый китбек¹⁷ («оставшийся у него со времен тиронута¹⁸ – алюф Цвика Гидеон говорил потом, что выбрал этот китбек бессознательно, словно собирался на войну», – писала все та же газета)? Как он роняет пачку-другую, как шарит в сейфе – точно триста двадцать? Не ошибся ли он, не дай бог? Все ли выгреб до последней купюрки? Илане Гарман явно были дороги эти воображаемые картины. Их первое свидание, кстати, могло оказаться обыкновенным стуцем, хотя это было хорошее свидание. Он остался голодным после кисунэй-басар и крошечного десерта с названием на «-ский», уложенного в огромную тарелку. Но был доволен собой, этой женщиной, этим сюжетом. Она наверняка тоже осталась голодной. Он мог поехать спать к ней, а мог позвать ее спать к себе, но не сделал ни того, ни другого.

После первых шести дней асона он сумел ее разыскать – они оба рыдали, оба не могли поверить, что встретились и остались живы, и Дана Гидеон тоже рыдала, уткнувшись Илане Гарман в мягкий живот и вцепившись пальчиками в порванный карман ее куртки. О да, тогда он точно мог позвать ее спать к себе – и опять не позвал. За последующие месяцы он мог позвать ее спать к себе десятки раз. Он мог позвать ее жить к себе, забрать ее из «каравана»¹⁹, в котором, кроме нее, ютились еще шесть женщин, забрать из барачного спасательного лагеря, где был один душ на восемьдесят человек. Он мог давно забрать ее к себе – но говорил ей, что пропуск нужно делать очень долго, что его уже делают, что его сделают вот-вот. Она явно понимала, что алюф Цвика Гидеон врет, но не сердилась. Наверняка она считала, что сближение с женщиной дается ему тяжело. Что впустить другую женщину в дом после того, что произошло с Шуши, – это огромное, огромное решение. Что Цвика Гидеон дает Дане Гидеон время подготовиться к этому решению (кажется, Илана Гарман ни секунды не сомневалась, что они съедутся рано или поздно). Наверняка она находила некоторое удовольствие в том, что оказалась такой понимающей, тонкой и терпеливой.

На самом деле постоянный пропуск в гостиницу давали за семьдесят два часа, а главе штаба Южного округа пропуск (как выяснилось) готовы были дать через час после того, как он положил на стол Адаас Бар-Лев свою заявку (понимающая, поддерживающая улыбка, вечная игра в «если бы» – если бы не его ужасная трагедия, между ними могло бы и быть кое-что, тем более теперь, когда муж Адаас Бар-Лев сгинул в какой-то больнице, но нет, ах, нет, – кстати, не задела ли Адаас Бар-Лев эта заявка на пропуск для Иланы Гарман?). Когда он спросил Дану Гидеон, как она смотрит на то, чтобы Илануш переехала к ним жить, Дана Гидеон в свойственной ей нехитрой манере вопила и скакала и чуть не повалила торшер (нет, не сегодня! Не завтра! Не скачи! Потому что пропуск! Пропуск очень долго делают, это же война, это же штаб. Успокойся! Бери Марика, и идите поешьте, хватит скакать). Словом, Илана Гарман давно могла жить в гулкой, неестественно пустой роскоши пятизвездочной гостиницы с собственным пляжем, с собственным куском радужного моря, с неработающими кондиционерами, но с работающим по три часа в день электричеством, с настоящими простынями, которые солдаты из службы быта меняли два раза в неделю. Формально говоря, постоянные пропуска должны были выдаваться только в исключительных случаях и только ближайшим членам семьи, но алюф Цвика Гидеон знал, что Зеев Банай поселил у себя престарелую мать одного из своих почерневших подчиненных, что Сури Магриб приводила к себе уже двух женщин, каждый раз

¹⁷ Зд.: солдатский заплечный мешок (*ивр.*).

¹⁸ Курс молодого бойца, первый этап службы в израильской армии.

¹⁹ Зд.: длинное временное передвижное жилое помещение (*ивр.*).

заказывая пропуск на имя своей пропавшей без вести сестры (и о сестре, и о женщинах битахон²⁰ не мог не знать, но, видимо, хлопот и без того хватало) и что в номере у Зеева Тамарчика (похабнейшее гнездышко для новобрачных, с красными покрывалами, зеркальными потолками и прозрачным джакузи; и шутки-то все уже выдохлись) живет его падчерица, дочь бывшей жены, Соня, Сонечка, худышка на пару лет постарше Даны (и весь штаб делал вид, что рыдающая девочка-подросток, которую Тамарчик иногда выносит на пляж на руках и с которой Дана Гидеон и Марик Ройнштейн боятся заговорить, – это призрак, призрак, Плакса Миртл). Илана Гарман давно могла мыться каждый день, мыться теплой водой из проточного нагревателя. Если бы не Дора.

Иногда собаки убегают, и с ними случается что-нибудь плохое. Иногда их крадут сумасшедшие похитители чужих собак. Иногда они подкапываются под дом, застревают между креплениями и погибают.

Алюф Цвика Гидеон совсем не думал о Доре после асона, хотя Тамарчик и пытался пару раз спросить, как там его собака (у глухонемого сына Тамарчика был попугай, который во время асона вроде как улетел, и Тамарчик рассказывал всем, что это в чистом виде милосердие Божье, а то страшно даже подумать, каково бы его сыну было вот это вот все). Дора оказалась немногословной животиной, так что разница между прежними временами и нынешними была небольшой (Дана Гидеон, кстати, словно бы отказалась признать способность Доры к человеческой речи, и это было довольно странно: большинство детей новая реальность или пугала до шока, или радовала до визга. Сама же Дора почему-то охотнее всего разговаривала с Мариком Ройнштейном – может, потому, что этот недотыкомка всегда, и до асона и нынче, немел при ее приближении, а теперь только покорно кивал в ответ на любое ее редкое слово). Алюфу Цвике Гидеону же, ей-богу, и без Доры было о чем подумать: он отвечал за миюн, за разделение выживших в его округе гражданских лиц (а их тут, кстати, было больше, чем даже в «волшебном кольце») на тех, кого следовало запихнуть в медлагерь, и на тех, кого ждали «временные поселения» – сговняканные на скорую руку барачные города, про которые было ясно, что они тут навеки – если еще существуют «навечно». Два часа инструктажа, проведенного на рассвете падающим от усталости военным психологом, – и его солдаты отправились объяснять людям, что их писающая под себя бабушка поедет в гериатрический медлагерь – и нет, с ней нельзя. И что их ослепший мальчик поедет в педиатрический медлагерь – и нет, с ним нельзя. И что их дрожащая, покрытая радужной коростой, бесконечно повторяющая на одной ноте: «Что? Что? Что? Что? Что? Что?» левретка поедет в ветлагерь – и нет, с ней нельзя. В ответ его солдат называли фашистами. Их называли зверями хуже фашистов. Их называли «доктор Менгеле». Лично его называли «доктор Менгеле» чаще всех, и когда заработало радио, он дважды слышал, как некто хамоватый (и, судя по голосу, жирный) быстро-быстро выплевывал в потрескивающее пространство словесную дрянь, за которую его полагалось бы прижучить как следует, обволакивал ее патокой и делал вид, что занимается разъяснительной работой: «Вы спрашиваете: „Неужели человек, потерявший жену в такой страшной личной трагедии, способен разлучать семьи? Неужели нельзя было построить систему, при которой медлагеря принимают вместе с несчастным пострадавшим его близких? Неужели алюф не помнит, каково это – знать, что любимый человек страдает, самому быть в шоке – и не иметь возможности повидаться?“ Я вам скажу: не дай нам всем бог пережить то, что пережил алюф Цвика Гидеон в те двадцать шесть часов – больше чем двадцать шесть часов! – когда его жена была неизвестно где, а его маленькая девочка не знала, куда делась ее мама; в те двадцать шесть часов, когда алюф Цвика Гидеон ждал, что ему позвонят про выкуп, а дальше произошел весь этот ужас

²⁰ Служба безопасности (*ивр.*).

с его несчастной Шуши! „Как может этот человек отделять людей, тем более больных людей от семьи, если не то что пострадавшим – нам всем надо сейчас быть вместе, мы сейчас все должны быть как одна большая семья! Как можно в это жуткое время забирать больную маму у ребенка и больного сына у родителей? Неужели нельзя было придумать что-то, хоть что-то вместо этого позора?“ – спрашиваете вы, а некоторые еще и добавляют: „И ладно жена – но ведь Господь благословенный помиловал дочку нашего алюфа в первый день асона – сколько детей выжили в этой школе? Сорок девять человек во всей школе! А если бы (хамса-хамса-хамса!²¹) с девочкой тогда что-нибудь случилось – что, алюф Цвика Гидеон отдал бы раненого ребенка в медлагерь?..“» – трещало радио, и алюф Цвика Гидеон слушал эту трескотню, сидя, как вот сейчас, на стальной разделочной поверхности посреди десертного цеха, ждал, когда подтянутся еще три человека. В подземном десертном цеху гостиницы, все еще наполненном нежными и бесстыжими запахами, в невыносимо ранние часы заседал малый совет Южного штаба. Было пять тридцать утра, и алюфу Цвике Гидеону казалось, что не осталось во вселенной никакого другого времени суток – только изнурительный, безнадежный рассвет.

Сегодня надо было наконец решить, как организовать перевозку выздоровевших из медлагерей в барачные города – по разорванным дорогам, покрытым скользкой радужной пылью. До сих пор получалось, что никак, выздоровевшие слонялись по медлагерям, требовали, чтоб их вернули к семьям, изнывали, устраивали бардак, и медлагеря постепенно превращались в те же самые барачные города, только еще хуже. К счастью, он придумал кое-что сегодня ночью (пока думал про Дору, про Дору): надо договориться с лошадьми и с верблюдами. Собрать лошадей с каких-нибудь ферм, из катательных аттракционов, из кибуцев, откуда можно, и еще договориться с верблюдами (потому что в Негеве до сих пор оставались верблюды, несмотря на «бури» или как там это решено называть). Надо, сказал он, всем им (лошадям, верблюдам, каким-нибудь пони, ослам еще, может быть, если найдутся... кстати, а что бараны? Нет?) предложить паек, предложить загоны, чтобы прятаться от «бурь», надо предложить им «хабасы» (или это будут «кабасы»²², раз не костюм, а – покров? чехол? – неважно). Сейчас кто угодно сделает что угодно за паек и полипреновый костюм, сказал он. Ох, ну естественно: вам случилось видеть, как двуслойным наждачным одеялом ползет на вас буша-вэ-хирпа? (Кроме Сури всем случилось: Сури, понятно, не видела ничего, асон застал Сури в этой гостинице, она проводила тут отпуск с сестрой, связи не было, две роты под командованием Баная и Тамарчика пытались обследовать район, чернея по одному, и так штаб Южного округа постепенно собрался в этом «Рэдиссоне». Сури ни разу не вышла из гостиницы с асона, даже на пляж, и все делали вид, что это нормально.) Так вот, если вы это видели, вы поймете: когда наползает на землю двуслойным наждачным одеялом буша-вэ-хирпа, верблюды гибнут десятками, по большей части затаптывая друг друга в панической драке за укрытие. Давайте договариваться с верблюдами, сказал он, я поеду. (Потом он даже не поинтересовался, как в результате стали называть огромные верблюжьи чехлы из полипрена, сказал, чтобы ему не морочили этим голову. Наверное, все-таки «кабасы».) Он поехал в Рахат и дальше, за Рахат, и договорился. Он показывал верблюдам на пальцах, как чехол будет покрывать их с головы до ног, и топал, изображая копыта, защищенные полипреном, а потом верблюды что-то блеяли между собой и мялись, потому что боялись двигаться с места, боялись перехода через пустыню. Идея про лошадей отпала с третьей попытки: куда бы он ни отправил своих людей, тут же выяснялось, что лошади – истерички, он не хотел иметь дела с истеричками. Верблюды были ок, хотя ему и двум его солдатам пришлось повторять одно и то же по пятьдесят раз, потому что у верблюдов не было никакого нормального центра, никакой самоорганизации. Он приходил с ящиком пайков, собранных его мальчиками из того, что было не жалко, Милена стояла у него за спиной

²¹ Выражение, точнее всего переводимое как «не приведи бог» (*ивр.*).

²² Вымышленное ивритское слово, составленное из слов «халифа» (костюм) и «бадшаб».

с автоматом, он клал перед каждым верблюдом по две пайки и начинал говорить. Верблюды сбивались в группки по трое и четверо, один раз он выступал перед аудиторией из восьми верблюдов сразу. Верблюды смотрели только на ящик с пайком и на рулоны полипрена, а он смотрел на них, с тоской думая, сколько же времени эти дохлые огрызки будут идти от, скажем, «Бриюты» (самого набитого из медлагерей и самого криво расположенного, поставленного в низине, и дела там тоже всегда шли криво) до огромной караванки «Далет», где жило в бараках с наспех забитыми полипреном щелями испуганное и растерянное человеческое стадо поголовьем в несколько тысяч штук. Но в результате прицепы с выздоравливающими каждый день отправлялись из медлагерей в караванки (мальчики Сури спроектировали высоченные оглобли для верблюдов и сами сколотили их из говна и палок). А его все равно называли доктором Менгеле, все равно пеняли ему на то, что он живет в «Рэдиссоне» (как будто остальной штаб жил в говне), припоминали, что его дочка, уж извините, жива-здоровая и находится рядом с ним. «Дай ей бог всего самого лучшего, бедной сиротке, – трещало радио, – но некоторые люди продолжают задавать алюфу Гидеону очень нехорошие вопросы. Они говорят: „Неужели алюф отдал бы свою девочку в медлагерь, если бы, не дай бог, поиски сначала велись в другой части школы, если бы, хамса-хамса-хамса, девочка пострадала и ей надо было лечиться?“» Он никогда не видел ведущего передачи «Рэфуа шлема»²³, но чувствовал, какой этот говнюк жирный, и с наслаждением представлял себе, как мягко вдавливает ботинок в его кадык и как на шее у этого говнюка собираются бордовые складки. Но все равно он слушал радио каждый день, тайком от дочери уносил приемник в ванную, надевал наушники, не признался бы в этом никому, делал вид, что ему плевать на радио (хотя ему и казалось иногда, что возле замочной скважины подозрительно хлюпает кое-чей сопливый любопытный нос). Он даже внеурочного сыру ни разу дочери не принес, все строго по пайку! (И внутренний голос сразу: тварь бездушная, даже сыру внеурочного дочери не принес, все строго по пайку!) Слова толстяка обостряли в нем чувство вины, но не за медлагерь, нет, а за то, что на самом деле он был бы счастлив куда-нибудь деть сейчас Дану Гидеон, а о Марике Ройнштейне и говорить нечего. У него просто не было сейчас сил на Дану Гидеон. И Марик же! Так вот, когда по ночам он сидел в наушниках на унитазах, перелистывая насквозь проштудированный гостиничный журнал (что-то вроде медитативной практики), его иногда внезапно охватывало просветление: господи, да он совершенно напрасно нервничает из-за Доры! Ну что Дора? Что Дора? Шесть лет назад Дора была щенком. Дора была тогда как бы трехлетним ребенком, а сейчас, в пересчете на человеческий возраст, ей шестью четыре? Двадцать четыре года. Что человек двадцати четырех лет может помнить о разговоре, который случайно услышал, когда ему было три? Не о разговоре даже: об одном коротеньком телефонном звонке. Даже не звонке: об одном «нет», повторенном дважды, а потом на той стороне дали отбой, и алюф Цвика Гидеон (тогда еще алюф-мишнэ²⁴) остался стоять с колотящимся от ярости сердцем и липким от пота мобильником в руке. Ах, ну не будем морочить голову читателю: короче, Дора была в комнате, когда они позвонили ему во второй раз. Не на мобильный и не на рабочий мобильный, которые в этот момент прослушивались как минимум десятком битохонщиков, а на третий мобильный, про который Шуши ничего не знала и никто ничего не знал: у него было право на собственную жизнь, в конце концов, – а откуда эти твари узнали про третий мобильный? – тут он чувствовал, что к боли и ненависти примешивается некоторое, чего скрывать, уважение: хитрые же гады, твари, хитрые же твари (неполиткорректные нынче эпитеты, причем оба, объяснила им Сури на недавнем инструктаже, проведенном по распоряжению каких-то идиотов из центра, мы больше не обзываемся словами, которые означают животных). Так вот: да, Дора во время этого избежавшего прослушки разговора была с ним в комнате. Да, только он и Дора, миленький щеночек, Dora the

²³ Дословно «Полное исцеление» (*ивр.*); это же выражение используется как пожелание скорейшего выздоровления.

²⁴ Полковник (*ивр.*).

Explorer, которую малютка Дана Гидеон настоятельно требовала назвать Даной Гидеон, – еле договорились, мудрено ли, что он путается? Какая же сложная девочка все-таки, хамса-хамса-хамса. Кажется, Дора тогда спала. В любом случае, лежала, закрыв глаза. Так или иначе, Дора не могла ничего понимать. Они назвали сумму, очень точную, знали, твари, точную сумму в сейфе до бумажечки (откуда?! – так и не выяснилось). Он давился яростью. Они сказали, что сейчас назовут время и место. Он на секунду оглох, или они медлили, воображая, как он мечется в поисках воображаемого карандаша. Они сказали: «Аллё?» – и он вдруг услышал, как его рот совершенно по собственной воле с ненавистью произносит в трубку: «Нет». На том конце провода как-то вроде захлебнулись воздухом; даже сквозь приبلуду, которая превращала их голос в стальную проволоку, изгибающуюся так и сяк, чтобы получались стальные слова, было слышно, что они захлебнулись воздухом: ну да, ну да, вот уж слова «нет» они не ждали. «Забыл ли ты, дружок, про конвертик с черепашкой, плохо ли мы тебе объяснили, дружок?» Они этого не сказали – просто задохнулись воздухом, и в этот судорожный вдох он аккуратненько уместил свое повторное «нет», все уже понимая – и понимая, что это ярость говорит его ртом, белая ледяная ярость. Они бросили трубку. Потом он стал ждать. Они сейчас перезвонят. Потом все стало ясно, и он вышел к следователям. Он как будто бы лежал в это время комком на просанном Дорой диване, маленький бедный птенчик, полковник, будущий глава штаба Южного округа, и грыз губу, стараясь не думать про запекшуюся черепашку, а тот, кто его ртом сказал «нет» (два раза), вышел к следователям с третьим мобильником в руке, растерянный, но собранный (да, так): он виноват, ему стыдно, он должен был сказать им, что существует третий номер, и нет, у него сейчас нет другой женщины, он любит свою жену, он больше жизни любит жену и дочь, просто... На него замахали руками: он не обязан ничего объяснять – да-да, простите, я не об этом, но так или иначе: они позвонили на третий номер, они назвали сумму, он согласился, сказал им «да». Дальше было, что было, а в день похорон («Пожалуйста, не надо меня кормить, не надо за мной заезжать, не надо вокруг меня носиться, бога ради, Лори, я приеду сам») он выходил из пустой квартиры (Дана Гидеон была у друзей сестры, в их семье существовало твердое правило: детям не место на похоронах), то есть должен был выходить, но не мог выйти, тупо ходил из комнаты в комнату, все время забывая, что он ищет свою бутылку с водой, вспоминая, ища ее почему-то в не застеленной постели, или среди дочкиных игрушек, или под подушкой у Шуши, и все это время Дора ходила за ним (тут хочется сказать «молча» – а как же еще? – просто ходила за ним, цок-цок). И вот прошло шесть лет, он сидел на унитазах в холодном люксе гостиницы «Рэдиссон», уставившись на журнальную картинку (мрачные болотистые эльфы насыпают полной красавице полные полные руки полых браслетов), и совершенно внезапно к нему приходило что-то вроде блаженного прозрения: господи, о чем вообще речь? Чего ему бояться? Собака ходила за ним по квартире в день похорон хозяйки. Собака всегда ходила за кем-нибудь по квартире. Что он себе напридумывал, что накрутил? Что Дора могла понять тогда, что может помнить сейчас, но главное – почему, почему она должна сказать что-нибудь Илане Гарман? Откуда эта фантазия? Раньше он ни разу не думал ни о чем подобном, а мало ли людей с начала асона общалось с Дорой? Он в пятитысячный раз представлял себе, как Дора и Илана Гарман оказываются наедине, но сейчас ему рисовалась милая пасторальная сцена: поглаживания и поскуливания, поговаривания и... ну, поборматывания, совершенно бессмысленные поборматывания бессмысленной собаки. Итого: Илана Гарман должна переехать к нему завтра же, Илана Гарман может переехать к нему прямо завтра, и тогда, да простит его Господь, будет кому возиться с Даной Гидеон и ее сопливчиком, хотя дело, конечно, не только в этом. Он энергично вскакивал, он решал, что завтра же пойдет за пропуском, он быстренько составлял в голове небольшой список дел: предупредить часового, провести с утра пораньше дисциплинарную беседу с дочерью («Слушаться Илануш, как меня, ясно, суслик?»),

что-то еще, что-то еще... Но с каждой секундой его кристально ясное просветление мутнело, он еще пытался удержать его (длинное, тянущее усилие где-то в глубине правого виска), но оно расползлось и рвалось, и от страха у него снова немели щеки. Такие моменты напрасного просветления случались почти каждый вечер, он был измучен. И вот мы здесь: настал день, когда Илана Гарман надавила на него – нет, нечестно так говорить, давайте предположим, что в этом не было ничего манипулятивного: просто уставшая от бытовых тягот постапокалиптической жизни немолодая женщина разрыдалась на плече у любимого. Просто невыносимая кликушествующая дура в ее бараке опять полночи причитала, что скоро пайки срежут, потом отменят, и все станут есть друг друга, и она может им гарантировать: с нее они не начнут, пусть даже не надеются. Просто им сообщили, что из-за нехватки воды чистые полотенца выдадут только в пятницу. Просто к ней опять приходил вязкий философствующий потнюк из Защитной службы и вел долгие разговоры, и рассказывал, что его бывшая держала кота, так вот этому коту и слова были не нужны, и без слов было ясно, что кот – говнюк; когда он первый раз пришел к этой бывшей потрахаться, он кота уже через пять минут взял за шкуру и швырнул об стенку – и сутки был нормальный котик, мурлыкал, терся об ноги, а через сутки опять говнюк, штаны дерет когтями, он кота за шкуру, а эта бывшая его за дверь, вот же есть женщины, с которыми даже кот может обращаться, как с говном, такая ему не нужна, то ли дело Илана Гарман, в Илане Гарман есть уважение, он видит это уважение, женщину, в которой есть уважение, и мужчина будет всю жизнь уважать – и т. д., и запах этот жуткий от него. Просто... ой, нет, просто она, Илана Гарман, эгоистичная дура, фу, ей стыдно, пожалуйста, пусть он на нее не сердится, на нем такой груз, и она понимает, как ему сложно, и вообще, она так благодарна, что он дает ей шанс, фу, как же ей стыдно за эти рыдания, сейчас она перестанет. Он сказал, что ей не должно быть стыдно, что она не должна переставать, что она всегда может плакать при нем и жаловаться ему на что угодно, что завтра она переезжает к нему и он больше не хочет слышать никаких отговорок. На этом месте Илана Гарман даже подалась назад, приоткрыв рот совсем как Марик Ройнштейн – ааа? каких отговорок? – но в такие моменты кто же станет уточнять? Никто – и она заново разрыдалась и сказала, какой он хороший, какой он удивительный человек. С этого момента он перестал спать. Дора ходила за ним, цокая когтями, и в какой-то момент он схватил собаку и кусачками подстриг ей когти. Дора после этого долго жевала и вылизывала себе пальцы, а потом сказала: «Покажи свои». Он снял носок и показал желтоватые, аккуратно подстриженные ногти. Это, видно, дало собаке ответ на какой-то занимавший ее вопрос, она потеряла к своим ногам всякий интерес, но три дня назад он опять стал слышать это цок-цок, и в своем измученном, издерганном состоянии счел это дурным знаком. Нынче же, стоя у гигантской гостиничной духовки (Зеев Тамарчик попытался усесться на разделочную поверхность рядом с ним, и он, как всегда, постарался оказаться от Зеева Тамарчика как можно дальше: он сам не замечал, как это происходит, и если бы кто-нибудь сказал ему, он бы удивился, он считал, что Зеев Тамарчик хороший и толковый мужик, хоть и неопытный и немножко пошляк), алюф Цвика Гидеон цок-цок, цок-цокал ногтями то одной руки, то другой по своему темному отражению в теплостойком стекле. Всю еду для штаба и штабных приживальцев готовили не тут, а на малой кухне в другом крыле гостиницы, и поверхности, в последний раз надраенные три недели назад, медленно покрывались радужной пылью.

Иногда собаки просто теряются. Уходят и не приходят. Заходят в море и не выходят. Верблюды все время гибнут, когда напалзает буша-вэ-хирпа. Собаки не успевают домой, не успевают добежать до гостиницы по тревоге, двери закрываются, Дана Гидеон плачет и кричит, Марик Ройнштейн молча соплится пище обычного, бедная собака, бедные дети.

Зеев Тамарчик рассказывает анекдот: «Верблюд, собака и корова заходят в бар – и ничего, все нормально». Внезапно алюф Цвика Гидеон соскакивает с плиты (далее очевидная

последовательность: бежит, лифт, не лифт, лестница, коридору положено быть бесконечным, что еще? – ну, понятно, – и вот он вбегает в номер...), и вот он вбегает в номер: все хорошо. Илана Гарман изумлена, Илана Гарман счастлива: он выбежал на минуточку ее обнять, сказать, как он ей рад. Где дети? У моря. Где Дора? С детьми. Где моя бутылка с водой? Вот, ты забыл ее на кресле. Ты самый лучший. Я тебя люблю. Алюф Цвика Гидеон ползет назад в кухню по темным коридорам, как таракан, черный-черный таракан в полипропиленовых дурацких тряпках. Телом, мышцами спины он помнит, как полз вот так шесть лет назад темным переулком после спектакля, разыгранного им (признаемся теперь здесь, в пустом коридоре) совершенно бездарно, но чтобы усомниться в подлинности представления, надо было допустить, что он сказал в трубку «нет», что человек, у которого требуют выкупа за жену, может сказать «нет». За спиной, в переполненном мусорном контейнере, лежал его китбек с тремястами двадцатью тысячами наличных денег (минус две пачки, но он сам не знал, что уронил их). Впереди у него, казалось бы, не было ничего, кроме плохо освещенной ночной улицы, а на самом деле – человек, наверное, тридцать в черной маскировочной одежде, в защитках и жилетах, в касках и очках ночного видения, и все они так жалели, так жалели бедного алюфа-мишнэ Цвику Гидеона, многообещающего Цвику Гидеона, Цвику Гидеона, который когда-нибудь наверняка станет начальником штаба, и они будут рассказывать, как прикрывали его той густой и горькой ночью, когда он нес выкуп по темному переулку, закидывал китбек в переполненный мусорный бак и полз обратно по темному переулку, как черный, раздавленный, почти мертвый таракан. Кто будет рассказывать, как взял на месте явившихся за выкупом злодеев, садистов, негодяев? Никто: они прождали этих негодяев, злодеев, садистов тридцать шесть часов. Никто не пришел. Они прождали еще сутки. Никто не пришел. Они прождали еще два часа, и тут приехал глава полиции: тело Шуши нашли (далее подробности; Гидеон потребовал все, все подробности, он требовал повторять подробности, терзал себя и тех, кто вынужден был сообщать ему подробности, терзал и терзал и терзал). Полиция пыталась вернуть ему деньги из бака. Нет, это улика, нет, пускай они лежат у вас, пускай, вдруг когда-нибудь... Вдруг однажды это позволит... Зачем спорить с измученным горем человеком? Спорить с измученным горем человеком не надо (а надо сказать: он был измучен горем. Он был измучен страшнее и чернее, чем кто-нибудь мог вообразить, он был измучен горем, и виной, и стыдом, и виной, и стыдом, и виной). И вот он ползет назад, в штаб, на заседание кондитерского цеха (хихи). Позади у него номер, в котором очень хорошая женщина раскладывает вещи из жалкой сумки весом менее 8 килограмм (по его же инструкциям в лагерь запрещалось брать больше). Впереди у него светлое и спокойное счастье, позади у него безумие, навязчивая мысль, нелепая и необъяснимая задним числом: откуда? Почему? Какое расскажет? Какая Дора? Дора – это вина, вот и все, алюф Цвика Гидеон даже не понимает, что отлично это понимает, и очень хорошо, что не понимает (покойная Шуши, кстати, умела подносить ему такие психоаналитические открытия с самоуверенным видом, и это бесило его до зуда).

Сладко пахнет несуществующими более пончиками и шоколадом, из которого пайки категории Н2, раздаваемые мирному населению, состоят на 11%. Он отдает две трети мяса и тунца из своего пайка А1 детям, и все равно они едят раз в десять больше шоколада, чем он бы позволил им в мирное время (ладно, нет смысла об этом думать). Что я пропустил? Приходил мальчик. Какой мальчик? Этот твой мальчик. Что, один?! (Алюф Цвика Гидеон не мог представить себе, что хлюпало сделает хоть шаг без Даны.) Да, один. Нет-нет, с Даной Гидеон все хорошо, и с собакой все хорошо. Он сказал – ему надо поговорить. Гребаный мальчик. Черт знает что, а не утро. Я выйду на всякий случай и найду гребаного мальчика? Конечно, мы пока про гигиену в лагерях, это ответственность Тamarчика, никто не слушает Тamarчика.

Он почему-то представлял себе, что Марик Ройнштейн, как всегда, стоит за спиной у Даны, пока та радужными ногами пинает радужную морскую воду или занимается чем-нибудь еще с той же мерой осмысленности, но сопливчик подвернулся ему под ноги прямо за углом, по

пути к центральным лифтам. Алюф Цвика Гидеон выругался и извинился. Сопливчик стоял, качаясь мелким тельцем, как суслик, как будто алюф Цвика Гидеон каждым движением рук дергал за привязанные к его макушке ниточки.

– Что? – спросил алюф Цвика Гидеон нетерпеливо.

– Пропуск, – сказал сопливчик заунывно, как в трубу.

– Куда? – не понял алюф Цвика Гидеон.

Сопливчик помотал головой и снова качнулся.

– Марик, говори, пожалуйста, – алюф Цвика Гидеон очень старался, – чем я могу тебе помочь? Тебе нужен пропуск? Что-то случилось? Тебе надо поехать к врачу?

– К Сури пришла сестра, я видел ее сестру, – сказал сопливчик.

– К нам всем иногда ходят люди, – сказал алюф Цвика Гидеон. (Ничего ж себе! Неужели маленький засранец собрался настучать ему на Сури? Алюф Цвика Гидеон даже заинтересовался.)

– Пропуск, – сказал сопливчик.

– Марик, – сказал алюф Цвика Гидеон, – я там не шерсть на палочке верчу, а пытаюсь вытащить тридцать тысяч человек и хрен знает сколько прочих тварей из жопы. Ты можешь сказать, что тебе надо? Тебе надо для кого-то пропуск? Ты хочешь, чтобы к тебе кто-то пришел? (Кто, кто? Кто остался на белом свете у этого бедного суслика?)

– Один день, – сказал сопливчик и втянул в себя слизь с шумом промышленного гостиничного пылесоса. – Я слышал, вчера она говорит Адам: мне пропуск на сестру. А сегодня пришла сестра. Дать пропуск занимает один день.

Испуганный голос. Слизкий, тягучий голос маленького сопливца. Маленький ты сопливец.

Алюф Цвика Гидеон осторожно потянул воздух носом, сглотнул тугой, колючий ком ярости и спросил освободившимся горлом:

– Что ты хочешь, мальчик?

– Мяса, – сказал Марик Ройнштейн, и кадык у него жадно дернулся. – Два еще мяса каждый... Каждые...

– Раз в неделю. Одно. Есть при мне, – сказал алюф Цвика Гидеон.

7. Тоже

ونحن نستطيع أن نتكلم أيضا

*«Мы тоже умеем говорить» (араб.), граффити, часовая башня, Яффо, дек. 2021.

8. Коронный номер

Пальцы старушки – сухонькие, тоненькие, почти сплошь коричневые от старости – были унижены разномастными кольцами, и он отчетливо видел, что одно из них, свободно болтающееся на безымянном пальце, вот-вот слетит. Только на это он, Рахми Ковальски, и надеялся, только этого и желал: тогда старушка бы наверняка наклонилась за кольцом (вернее, он бы бросился подбирать ее кольцо, не давая ей наклониться) и все бы как-то обошлось. Но кольцо болталось и болталось, вертелось на коричневой узловатой палочке, как на стерженьке детского кольцеброса, старушка продолжала шипеть дрожащим голосом, так что слова ее с трудом можно было разобрать, зато Гарри визгливо выговаривал каждое слово с ледяной отчетливостью. Он хватал Гарри за руки, пытался увести, пытался заставить слезть с ящика, даже попытался зажать ему рот, но Гарри так закричал на него: «Мне? Мне?! Мне ты пытаешься пасть зажать?!» – что он сдался и только стоял, замерев, и ждал, когда все закончится, потому что рано или поздно оно заканчивалось. Старушка трясла перед ним рукой так долго, что он успел даже запомнить первые цифры бледного номера – 52, и успел подумать, что весь номер короткий, а он почему-то всегда считал, что номера эти были длинные, цифр по двенадцать (почему?). «Все это, все вот это – это вы, вы, вы это себе скажите, – повторял Гарри, – вы себе все это скажите, все правда, только это про вы, это про вас», – и старушка тоже пошла на третий круг, про неуважение и неблагодарность, про последнее, что есть, и про то, что вот так делаешь добро, а получаешь только ненависть, – «все правда, а только это не про меня, а про вас, это вы скажите себе!» В голосе Гарри послышалась ему наконец та усталость, после которой подобные сцены обычно заканчивались, Гарри вдруг замирал и оседал, и тогда он, уже предусмотрительно зачехливший и забросивший за спину свой инструмент, немедленно подхватывал ящик, подхватывал самого Гарри и, бормоча извинения, убегал в подворотню на Дубнов, где и вел с Гарри один и тот же неизбежно заканчивающийся слезами разговор, и больше они в тот день не работали. Потом примерно неделю, а иногда и десять дней Гарри терпел и вел себя хорошо, и хлопал кому из подающих тихо, а кому и громко, вытянувшись всем телом и стуча по ящику хвостом, и важно было только не пропустить момент, когда слишком уж энергичными становились аплодисменты, которыми Гарри награждал какого-нибудь торопливого солдата, кинувшего в тарелочку четверть хозяйственной карточки, или упрямого долговязого старика, не давшего лагерным агитаторам из чистого страха перемен и готового отсыпать уличному музыканту горсточку пайкового сублимуса, которое многие теперь повадились жевать с утра до ночи, чтобы во рту не было пусто. Слишком энергичные аплодисменты означали, что пора бы тихо сказать: «Гарри!!» – или: «Гарри!! Ты мне обещал!» – или еще что-нибудь, а лучше просто свернуть манатки и на пару дней притормозить. Эти пару дней Гарри будет в основном лежать и молча чесаться или спать почти беспробудно, жуя во сне кончик своего одеяла; проснется он, как похмельный – разбитый, мрачный, голодный, – но к утру следующего дня придет в себя и можно будет вернуться играть на улицу. Да, делать парутройку дней перерыва в таких случаях было бы умнее всего, вот только очень тяжело давались эти ничем не заполненные дни в темной сырой квартире: когда не играешь, много думаешь. Поэтому почти каждый раз он надеялся, что есть еще немножко времени, что на Гарри накатит только завтра или даже послезавтра – и вот перед тобой стоит шипящая, хрупкая, как ободранное бурею деревцо, старушка, и рука с номерком позвякивает кольцами прямо у тебя перед носом. Ему почудилось, что вскрики Гарри стали слабее и, что ли, формальнее, он знал, что сейчас Гарри перейдет на слабые, вялые фразы, всегда одни и те же: «Человек перед вами играет... Человек не милостыню просит, а играет... А вы думаете – можно милостыню. Можно милостыню, а нельзя. Человек знает где играл? Вас бы не пустили. Я неблагодарный? А это ты... Вы неблагодарный. На себя все это говорите лучше. Нельзя милостыню! Надо послушать.

Он же для вас играет, скрипка, надо встать послушать! Лучше не класть ничего, а послушать, а вы кладете и идете! Нельзя! Нельзя!» Это означало, что пора хватать ящик и бежать, Гарри даст себя унести, а не порвет ему когтями руку, как было в первый раз (еле зажило, и врач, который выписывал ему антибиотики, явно был раздосадован, что приходится тратить антибиотики на такие глупости). Он подхватил Гарри под хвостатый зад, и Гарри уткнулся ему в плечо обессиленно и безразлично, и он уже забормотал свои «проститерадибога» и «онжекакребенок», и тут старушка, сделав три шага вперед, чуть не к самому его носу поднесла палец, а потом этим же пальцем ткнула Гарри в спину раз, и еще раз, и еще раз, и Гарри взвизгнул от неожиданности и боли, и тут она сказала, что это нелюди, прямо и есть нелюди, и только болтают как люди, но это скоты, твари, гады, да, твари, ее не научишь, ей эти новые правила тьфу, она будет правду говорить, твари, твари, никакой души в них нет, и асон был от них, ей все объяснили, люди все знают, и пайки, ничего мы им не должны, и что, что говорят, бесы бы, наверное, тоже говорили, мы бы им дали себя объедать, землю нашу занимать, нашу еду есть, когда люди в нищете? Люди все знают, она старая, ей все равно, она так и скажет: твари, скоты, гады, всех вас надо было перебить и всех вас перебьют, ничего, подождите, люди поймут еще все и перебьют, а вы, интеллигентный человек, еще и кормите, я вот положила мыльную карточку и сейчас назад заберу, дайте сюда, если вы мне скажете, что ему хоть что-нибудь дадите, это моя карточка, мне и решать, что вы смотрите на меня?! Он прижал Гарри к груди, спиной к старушке, и достал из джинсов полиэтиленовый пакетик, куда ссыпал все из тарелочки, чтобы разобрать потом дома. В пакете были, среди прочего, несколько хозяйственных осьмушек и одна четвертькарточки на мыло и прочую гигиену. Ему очень не хотелось отдавать четвертькарточки, вообще все это было невыносимо и как-то до дрожи отвратительно, он понимал, что должен сейчас испытывать справедливую ярость, ненавидеть эту старушку, что-то ужасно резкое ей в ответ сказать, бросить ей эту четвертину, но только бессильно стал рыться в пакете, чтобы уже все закончилось. Гарри висел на нем, вцепившись всеми конечностями в свитер, растянувшийся от этого чуть ли не до колен, и плакал. Наконец он сумел выцепить из пакета чертову картонку и протянул Грете Маймонид вместе с налипшим кусочком гашиша, который кто-то добрый, с кем вообще хорошо бы пообщаться, кинул в мисочку пару часов назад, а кто – он и не заметил, глаза были закрыты. Она взяла картонку, гашиш сунула ему назад, а картонку попыталась разломить трясущимися, слабыми пальцами на две осьмушки. Жидкие кудельки ее, ярко-рыжие по всей длине, но совершенно белые у корней, явно ни разу не крашенные со дня асона, тоже дрожали мелкой дрожью, точь-в-точь такой же, какая была сейчас сползающего все ниже и ниже Гарри. «Дайте», – сказал он и разломил четвертинку сам. Грета Маймонид взяла у него с ладони один маленький кусочек картона и забросила глубоко в кусты.

9. «Лапка-бадшабка»

Материал для детского чтения

Предназначен для самостоятельного детского чтения, чтения с родителями, для методических занятий в школах и педиатрических медлагерях, для использования при оказании психологической помощи.

*Изд-во «Отдел социальных проектов Южного военного округа»
(Маарахот-Даром)*

Серия «Книжка спешит на помощь»

Текст: Сури Магриб

Илл.: Илана Гарман

Возр. катег. 7-10 лет.

Изд. код А-006КСМП-49

Шули собирает чемодан, а папа ее поторапливает: «Давай, малышка, уже ночь, а в семь часов утра нас с тобой подхватят – и вперед!»

Шули помнит, что в чемодан много класть нельзя. Папа взвесил свой чемодан – десять килограмм! И у Шули должно быть не больше. Кажется, много – а вот сколько всего не влезло: и ролики, и лук со стрелами. Даже книжки пришлось взять только самые любимые. Они уезжают не насовсем, скоро все опять будет в порядке, и Шули снова будет кататься на роликах по детской аллее возле дома. Но сейчас ей очень грустно.

Папа взвешивает ее чемодан: почти десять килограмм!

– Решай скорее, Шули! – говорит папа.

Шули колеблется. В руках у нее книжка про Бильби²⁵ – самая лучшая книжка на свете. «Если уж брать с собой всего несколько книжек, – думает Шули, – то такие, которые можно перечитывать хоть по сто раз!» В книжке про Бильби целых пять историй, поэтому книжка тяжелая, если положить ее в чемодан – будет как раз десять килограмм. Шули очень хочется взять с собой «Бильби» в незнакомый лагерь! Но что-то ей мешает.

За спиной у Шули кто-то вздыхает, тихонько-тихонько. Шули делает вид, что ничего не заметила. Она знает, что на комодке стоит большая-пребольшая клетка, а в клетке – красивый пластиковый домик: даже не домик – дворец! В нем три этажа, лесенки, подвесные кольца, горки, комнатки, поилки, кормушки... Раньше у Шули не было большей радости, чем смотреть, как ее ручной хорек Анемон бегаёт по своему дворцу: как будто золотистый ручеек перетекает!

Но после асона Шули все не привыкнет, что Анемон теперь может разговаривать. Как будто и не любимый Анемон это, а неизвестно кто. Шули даже спать в одной комнате с Анемоном не может: вдруг он ночью с ней заговорит, а она не будет знать, что ответить? Даже слово «бадшаб» кажется Шули страшным, колючим. Анемон это знает и при Шули всегда молчит, но ей все равно страшновато. Поэтому клетку с Анемоном папа перенес в гостиную и только сегодня вечером переставил в комнату с чемоданами, чтобы утром быстро-быстро все взять. Шули слышала несколько раз, как папа с Анемоном разговаривают. Папа говорил, что очень скучает по маме Шули, а Анемон его утешал.

Шули тоже ужасно скучает по маме, но с кем об этом поговоришь? Папе и так грустно, пусть он и старается не подавать виду. А всех друзей Шули и их семьи уже развезли по лагерям. Шули не знает, когда с ними встретится. «Может быть, – думает Шули, – в лагере будет

²⁵ Имя Пеппи Длинныйчулок в ивритском переводе.

психолог, которому я расскажу, как скучаю по маме». За спиной у нее тихонько позвякивает подвеска. Шули знает – это Анемон забрался на самый-самый верх своего дворца и смотрит на нее. Но оборачиваться ей не хочется.

Папа заглядывает в комнату и уже совсем-совсем сердится.

– Шули! – говорит он строго. – Ты же не выспишься и мне не дашь! Или выходи из комнаты, или собирай дворец сама!

Шули очень трудно, но она медленно идет к книжной полке и ставит на место любимую «Бильби». Место, которое осталось в ее чемодане, – для пластикового дворца. Сейчас папа разберет его на части, а в лагере снова соберет и поставит в клетку, чтобы Анемону было веселее. Шули выходит из комнаты и притворяется за собой дверь. Ей еще надо почистить зубы и принять порошки от радужной напасти. Она устала и с радостью ляжет спать, только на сердце у нее грустно.

В квартире все разбросано, но Шули знает, что это не страшно: просто папа старался быстро собраться и ничего не забыть. Зубная щетка Шули, паста и порошки аккуратно ждут в ванной: их папа уложит уже завтра утром. Шули чистит зубы, а сама прислушивается: вот папа вошел в комнату, вот легонько звякнул замок клетки, сейчас, наверное, будет шум и стук от деталек, из которых состоит дворец. Но шума все нет и нет. Шули замирает со щеткой во рту: что же происходит?

– Шули! – зовет папа. – А ну-ка загляни сюда.

Шули удивляется. Неужели она забыла упаковать что-то важное? Тогда придется достать еще книжку из чемодана! Шули не входит в комнату сразу, а спрашивает через дверь:

– Клетка закрыта?

– Закрыта, – отвечает папа, и Шули заходит.

Шули старается не смотреть на Анемона, а смотреть только на папу. Папа выглядит очень удивленным, и Шули не знает, что думать.

– Очень тебе хочется взять с собой «Бильби»? – спрашивает папа.

Шули кивает.

Тогда папа берет толстую, тяжелую книжку про Бильби с полки и торжественно кладет в чемодан. Шули ничего не понимает. Тогда папа говорит:

– Анемон сказал, что обойдется без дворца. Он уже не маленький, а в лагере будет много новых впечатлений, и он не соскучится. Анемон сказал: «Пусть Шулик берет книжку, я же вижу, как ей хочется».

Шули смотрит на Анемона, первый раз аж с самого начала асона толком смотрит в глаза своему другу. Глазки Анемона блестят, золотистая шерстка переливается, и Шули видит, как он рад. Шули очень стыдно, она не понимает, как могла бояться Анемона и забросить его на столько недель. Шули не понимает, как могла так поступить со своим другом.

Она подходит к клетке и гладит Анемона пальчиком по голове.

– Лапка-башмак, – говорит Шули. – Ты лапка-башмак.

А Анемон только довольно жмурится и не отвечает ничего.

Как ты думаешь...

- Почему Шули стала бояться Анемона?
- Что случилось с мамой Шули?
- Почему Анемон отказался от своего дворца?
- Что чувствовал папа, когда Анемон отказался от своего дворца?
- Что чувствовала Шули, когда позже, в лагере, читала любимую книжку про Бильби?
- Все ли башмаки ведут себя, как Анемон?
- Как еще могут вести себя башмаки?

- Какие правила поведения с незнакомыми бадшабами ты знаешь?

Доп. материалы в серии «Книжка спешит на помощь», возр. катег. 4–9 лет:

С. Магриб, «Загадочное происшествие в девятом караване», А-001КСНП-49;

С. Магриб, «Шули прячется от бури», У-002КСНП-412;

Р. Маймонид, «Марик заболел», А-003КСНП-49;

К. Гагнус, «Самый роскошный праздник», Е-004КСНП-49;

Р. Маймонид, «Шули скучает по дому», Е-005КСНП-812;

Р. Маймонид, «Как папа стал спасателем», А-007КСНП-49;

Т. Климански, «С новосельем, Марик! или Второе происшествие в девятом караване», А-008КСНП-810;

С. Климански, «Белый корабль в радужном море», В-009КСНП-49;

Т. и С. Климански, «Рони-Макарони, молчаливый бадшаб», У-010КСНП-412.

Изд-во «Отд. соц. проектов Южн. воен. окр.», фев. 2022.

10. Дизартрия – это...

...когда во рту каша, ты говоришь вроде, но все слова как из говна слеплены, и ничего невозможно разобрать – ну, признаемся себе, ты не говоришь, а воешь, ты пытаешься как бы связно говорить, а вместо этого уяааааааауааааа, ы, ы, ыыыы. Для выявления дизартрии больному предлагают произнести скороговорку: Костя Маев, скажи «Интервьюер интервента интервьюировал, интервьюировал, да не выинтервьюировал». Скажи, Костя Маев, «Баба Клава в балаклаве распугала попугаев». Хорошо, перейдем к шипшипшипшипящим: «Сшита шуба из шиншилл – шиншилл шиншилле шубу сшил». Это сейчас, Костя Маев, никто не может выговорить, хехе, такое время, не надо нам такого выговаривать, да, все животные – братья. Вы, кстати, когда-нибудь держали в руках шиншиллу? Не напрягайтесь, я вам сам расскажу, я держал: ой, ну это вообще. Ну это такое, как будто шелк у тебя по пальцам льется. Не держали, нет? Не напрягайтесь, горлышко расслабили, не надо все слова сразу, по одному говорим и между каждым дышим-дышим-дышим: «Я... Никогда... Не держал... В руках...» Ну дальше сам, давайте-давайте, Константин Маев. Константин Маев дает: «Я... Однажжж... Однааа... Однажды!» Константин мо-ло-дец! Легким язычком говорим, давайте-давайте, язычок свободно болтается, дышим-дышим – он одна... однажды держал сразу двух, это было ровно пять лет назад, незабвенным и сладостным апрелем шестнадцатого сладостного годдддд гооодддда – язычок! – гооода, просто про него так больно, что сразу – ну вот, апрелем, и он был совсем салага, но уже свой, упоительно свой, Наш. Он обнаружил объявление на «Авито», когда они с Катей пытались купить подержанную сушилку для одежды, – зашел посмотреть, что еще у этого чувака есть, ему давно хотелось купить для чая какие-нибудь тонкие-тонкие, сине-бело-золотоватые чашки, но искать он стыдился, а только делал вид, что просто поглядывает, чем люди приторговывают, интересно же. У чувака, который на фотографиях профайла оказался милой женщиной с ярко-красными волосами, был, как назло, только кофейный сервиз «Кораблик», а еще сушилка вот эта самая – и домашняя ферма по разведению шиншилл. Он сразу похерил сушилку и кинул ссылочку Демиургу – первый и единственный раз написал ему в фейсбучном мессенджере напрямую, кстати; сначала что-то пытался приписать, но получалось плохо, сбивчиво («Смотри, чо я...», «Мужик, смотри, ты хотел шиншилл...», «Смотри, мужжжыывввв...»), но понял, что круче вообще без комментариев – а чо, свой своему, наш нашему, по-простому, – и кинул без комментариев. Ответа не было минут десять, очень неприятных, а потом затанцевали три точки, он похолодел – а Дем, оказывается, писал: «Прикольно!» Ах, Костя Маев, Костя Маев, помнишь, как оно в этот момент было – тепло? Через два дня они поехали вчетвером, Костя Маев первым справа – такое ему выпало вознаграждение, – парканулись у железного подъезда в ебнях и вошли всею своей мощью в маленькую, яркую, перегретую квартиру с такими всякими штуками, от которых Костя всегда таял, как последняя баба, – вроде висящего на стенке крошечного, с ладонь, туземного медного чайничка, вроде большой расписной турецкой тарелки, невероятно зеленой, со сваленными в нее ключами, таблетками и монетками, – но в тот момент в квартирке был такой совсем другой Костя, стальной и кожаный, и все смотрели на Дема так, как на Дема всегда все смотрят (а научись, Костя Маев, ставить глаголы в прошедшем времени) – как на Дема всегда все смотрели, и Дем был такой – как всегда, да-да, – немыслимо галантный, хозяйке поцеловал ручку и сказал: «Не посмею отнимать время, готов знакомиться с индивидами», – и они все пошли было в маленькую, остро пахнущую зверятиной комнату, но, конечно, не сумели даже через кухню пройти эдаким скопом и остались стоять в коридоре, но на пороге комнаты Дем на него одного глянул и сказал: «Ну?» – и он пошел, весь теплый.

Давайте, Константин Маев, попробуем иначе: бог с ними, со скороговорками, вот я вам анекдот расскажу: подарили вашему Малютину попугая, большого, красивого, а тот ругается

– ужас. И ты мудака, и жена твоя шлюха, и дети твои бандиты... Ну, Малютин взял и сунул попугая в холодильник. Проходит час, открывает этот человек холодильник, а попугай оттуда: ой, и вы такой прекрасный человек, и жена у вас красавица, и дети отличники! «То-то», – думает Малютин. Достал попугая, посадил на жердочку, а тот: «Вы меня извините, Евгений, а только что вам эта курица сделала?..» Ну чего мы не улыбаемся, ну что мы суровые такие, ну хоть отвлеклись – и то хорошо, а теперь легонько говорим: «От топота копыт пыль по полю летит». Пыль попо... попопо... пыпыль оказалась немыслимо красивой вещью, если лежать в нее лицом, но при этом как бы смотреть вбок, – это он хорошо помнит. Первый его мотоцикл был «ИЖ», ему было пятнадцать, отец уже умер, мама стала ангелом – так он это называл про себя, когда из бойкой профкомовки она после папиных похорон превратилась в отрешенное, почти бессловесное, нежное существо, всегда носившее одну и ту же белую блузочку, которую остервенело стирала по часу каждую ночь, и гладившее Костю по голове истончившейся невесомой рукой. Первый конь и первое реальное махалово – он уже прибил к ребятам, к самым серьезным ребятам в Севастополе, был при них салажонком, и в тот день Демиург, Дем, сказал ему: «Возьмешь трофей – трофей твой». Он махался честно, голыми руками – это была их, «Демиургов», гордость, «Кулак – оружие железного человека», – говорил Дем, и они всегда махались наголо, ничего никогда в руки не брали – он оказался в какой-то момент один против огромного бугая с обрезком трубы, получил трещину в запястье, чуть не задохнулся от страшного тычка в живот, хребтом ударился об асфальт и понял, что это конец, и почувствовал, что сейчас произойдет самое ужасное, что только может произойти с человеком, – он разревется; и тогда он просто взял и вцепился этому бугаю зубами в глотку. Это было очень страшно – как там в глотке вдруг что-то хрустнуло и срезонировало у него в голове, будто глушак рванул в ночной хрустальной тишине. Ему было пятнадцать, и он зубами вырвал у судьбы свой первый «ИЖ», который потом перешел к Яше-мелкому. На этом «ИЖике», который наследник не просто держал в порядке, а разбирал-собирал-пересобирали раз в месяц «для чистоты», по его собственному выражению, Яша-мелкий и поехал в колонне 25 мая текущего года из Севастополя в Керчь. Костя снова ехал вторым справа – и как же это было больно, как же черно было у него на сердце, потому что впереди ехал не Дем, а Свин. Пыль и грязь, и сколько же было этой грязи, и самой что ни на есть грязной грязью был, казалось Косте Маеву, набит его собственный рот с той самой ночи за неделю до поездки, когда разбуженная злая Катя пошла открывать дверь и растерянно впустила Дема с огромной клеткой в руках. Как же Дем тогда старался, господи ты боже мой. У Кости Маева было совершенно безумное чувство, что это совсем не Дем, а кто-то украл тело Дема и посадил тут, у Кости Маева с Катей Маевой на кухне («Я это с кухонного стола заберу», – сказала Катя холодно и унесла клетку, в которой сидели длинношерстный Ангел и лысый Бес, Костя Маев увидел шиншилл впервые с того сладкого вечера, когда ему доверено было идти вторым в колонне, и ему показалось, что они, как и он, оглушены происходящим). Тело выглядело, как Дем, но словно бы прилагало массу усилий, чтобы двигаться, как Дем, держаться, как Дем, и говорить голосом Дема. От всего, кроме чая, это тело отказалось, да и на чай согласилось только потому, показалось Косте Маеву, что настоящий, еще две недели назад существовавший Дем, наверное, согласился бы на чай. Костя Маев поставил перед телом Дема давно нарезанный лимон с сильным привкусом холодильника, и тело Дема начало этот лимон есть, не прикасаясь к чаю, и говорить. Исчезнуть, чтобы продолжать дело. Есть одни ребята, ни с кем не знакомил вот ровно на такой случай. Дело надо продолжать. Он будет продолжать дело, наше дело. Ребята одни, сильные ребята, не круче наших, конечно, но незасвеченные ребята, подробнее сказать нельзя, он и так одному только Косте Маеву, полагается на Костю Маева, дальше Кости Маева не пойдет, он это знает – а Костя Маев знал, что враньем, как пылью, сейчас забит Демиургов рот. Уйти в подполье, чтобы перегруппироваться. Сгруппироваться и продолжать дело. Малютин – это ненадолго, ребята, между прочим, знающие и говорят, что Малютин – это ненадолго, что там, в Москве,

действуют такие силы – ого, наши силы, на нашей стороне, а подробнее мы ничего не знаем, и знать не наше дело, а наше дело надо продолжать, когда Родина вновь позовет. Для этого сейчас надо уйти под землю, это страшно тяжело, но он, Дем, готов. Готов оставить ребят, хотя у него вот тут (тело постучало по якобы Демиурговой груди якобы Демиурговым кулаком) вот тут черный камень лежит от этого. Сегодня надо уйти, до завтра не ждет. Нельзя попрощаться с ребятами даже, нет, он им доверяет, как себе, но Костя Маев же знает наших ребят – они за Дема встанут все как один, за Дема и за Родину они захотят пойти с ним, все бросить – а с ним нельзя, это слишком опасно, он, Дем, не поведет людей за собой туда, где неясно, выживет ли он сам. Тело Дема было, как всегда, идеально выбрито, но Косте Маеву вдруг показалось, что сквозь запах клепаной кожи и лосьона для бритья пробивается запах мочи – видимо, тело Дема перед выходом меняло опилки в клетке. Костя Маев смотрел, как торопливо движется вниз-вверх чисто выбритое горло, и ему вдруг невыносимо захотелось наклониться, аккуратно прихватить это белое горло зубами и так, замерев, послушать, что это оно говорит, как будто через горло мог передаться какой-то смысл Демовой речи, не доходящий до слов, – вязкий, липкий страх, вот что это было бы, понял Костя Маев. Вот уже мерзкие, бесконечные минуты прощания с целованием Катиных ручек и кривым мужским объятием, и горло было близко-близко, а потом, когда дверь закрылась, Костя Маев пошел к клетке и увидел, что Ангел спит, а Бес смотрит на Костю Маева крошечными черными глазами, и горло его быстро движется вниз-вверх, вниз-вверх. Месяц спустя Костя Маев ехал вторым справа, и клетка с шиншиллами стояла у него за спиной. Было немыслимое, нежное, сладостное, трепещущее зеленое утро, и сам он себе казался прозрачным после вчерашней церемонии, когда они сожгли свои флаги и трижды глухо сказали, что «Крым небесный в наших сердцах», и Свин винтом выпил полбутылки специально запасенного, редкого, крымской выдержки, и передал бутылку по кругу. До Кости Маева дошло, соответственно, чуть ли не последним, и вместе с коньяком он сглотнул карабкавшиеся по горлу вверх слезы. Катя Маева была уже в Израиле, Израиль сейчас всех желающих из Крыма забирал быстро, Катя Маева собралась за три дня, и все три дня они, выоравшиеся наизнанку во время последней Катиной попытки убедить мужа бросить «весь этот маскарад» и валить, друг с другом не разговаривали и как-то вполне искренне не замечали друг друга, словно случайные люди, забредшие переночевать в одну квартиру. Перед тем как автобус Сохнута забрал Катю Маеву в аэропорт, она поменяла шиншиллам опилки и набила кормушку остатками корма. Закрыв за ней дверь, Костя Маев пошел к шиншиллам плакать и увидел наверху кормушки клочок бумаги со словом «Приезжай» – и тут уже выплакался за все, за Крым, за Дема, за все – и в следующий раз заплакал уже только у огромного костра, с почти пустой общей бутылкой в руках, и это было ок, потому что все равно никто не видел ничьих глаз в этот момент. На следующее утро он ехал справа от Свина, прозрачный и пустой, и только пыль беспокоила его – нет, не его самого, а в смысле Ангела и Беса, как они там в такой-то пыли? Костя Маев накрыл клетку старой курткой и хорошо обвязал, но боялся, что шиншиллам и пыльно, и душно. На последнем привале, почти под самой Керчью, он в первую очередь пошел проверять шиншилл – они вроде были ничего; впрочем, как определить, чего они или ничего? Костя Маев не умел – как и они, наверное, не умели определить, в порядке ли Костя Маев, когда меньше чем через полчаса он лежал перед ними в пыли, лицом в пыль, и простреленная рука пылала так, что Костя Маев словно был совсем отдельно от этой боли, а только смотрел на висящую в воздухе пыль, немыслимо красивую пыль, какую-то бархатную в нежном свете солнечного утра, когда их колонну, идущую домой, в Россию, взяли в клещи и расстреляли без предупреждения кем-то явно предупрежденные российские пограничники. Через неделю Костя Маев по кличке Избранник был уже в Израиле, милостиво выуженный из разгромленной керченской больницы все тем же Сохнутом, а что стало с шиншиллами – совершенно непонятно, и сейчас Косте Маеву было почему-то невыносимо смешно думать, что вот вопрос: заговорили шиншиллы или не заговорили? – тонкий вопрос, ответ на который зависит

от того, чей все-таки Крым, – тут Костя Маев вдруг начал смеяться и попытался объяснить врачу, что тут такого смешного, и даже почти справился, почти все слова произнес хорошо и четко, только вместо «пыль» почему-то вырывалось из Кости Маева длинное мучительное «ыыыыыы», и врач сказал, что Костя Маев мо-ло-дец, что это называется «дизартрия» и что ничего неврологического у Кости Маева нет, это стресс, просто стресс, это пройдет.

11. Хипстотааааа

Энди, Андрей Сергеевич Петровски, однажды жестко оскоромился: поел мяска, и еще как поел. Гонконг, общий отпуск с сестрой (Агата Петровски летит из Мск, он из ТА, так это все красиво, «а вообще, Андрюшка, мы хипстотаааа». «Будешь называть меня „Андрюшкой“, будешь „Агатой Сергевной“». «А вообще, Хрюшка, мы хипстотаааа». «Ну тебя, коза»), и вдруг в последние ночи перед отпуском он перестает нормально спать, просыпается с паническими атаками, два раза не приходит волонтерить в «Цаар Баалей Хаим»²⁶, пропускает роды у несчастной бритой корги, которую сам же месяц назад подобрал на улице, – ну почему? Ну потому, что он очень любит Агату Петровски, очень любит старшую сестру, но блин. Во-первых, ее вечные мелкие подколки, мелкие-мелкие, и он вдруг, лежа ночью никакой, подумал, что это же как китайская пытка: каждая подколочка – ничто, но к исходу третьего дня с сестрой из него половина крови через дырки вытечет. Во-вторых, разговоры про папу и ее странное чувство юмора. Через три месяца после папиной смерти они напились (они тогда вообще перестали расставаться, он приехал в Мск на похороны, поселился у нее, а уехал через три, собственно, месяца), и она сказала: я думаю, папа в аду. Он помнит, как в этот момент замер от чувства невозможного, божественного откровения и как через несколько секунд обнаружил, что выглядит, наверное, полнейшим идиотом – щеки надуты, верхняя губа оттопырена, – потому что вот буквально только что они с Агатой Петровски изображали хомяков. Папа их, Сергей Александрович Петровски, был совершенно прекрасный, мягкий, обожающий животных человек (да что ж за еб твою мать, из-за асона это первое, что сейчас говорят, и вот у него, Энди, в голове тоже, оказывается, окончательно перещелкнуло), но Энди знал, что она права, и не знал, почему права, и Агата Петровски поспешно сказала, что она не имеет в виду, будто папа плохой, просто она так чувствует; и вообще она думает, что ад – это просто, понимаешь, такая серая долгая маета, ад – это маета, вот что («Агата!!! Блин!! Прекрати!!!»), да нет же, ну ты знаешь папу, ну он там, может, как всегда, что-нибудь коллекционирует совершенно невозможное – ну, например, фольклор! Должен же в аду быть фольклор? («Прекрати, блин!!!») – ну все, ну все, она дура, она не хотела, ну Андрюшка!.. На следующее утро он сказал ей, что пришло письмо от «Цаар Баалей Хаим», что ему наконец поручили всю агитационную работу, что завтра он улетает, потом они сутки почти не виделись, потом он улетел. Не было с тех пор раза, чтобы она не заговорила о папе, и при каждой встрече от этого разговора у него переворачивался желудок – и, конечно, она делала это не нарочно, просто Агата Петровски есть Агата Петровски. А в-третьих (это он вспомнил уже во время войны, когда писал листовку, умолявшую всех и каждого ставить на улице наполненные водой миски для животных, потому что «жар войны опалает не только нас»), у Агаты Петровски был свой способ осматривать города, доводивший Энди до бешенства: ее интересовали только люди, она могла бесконечно сидеть на одном месте и пялиться на проходящих мимо прохожих, уверенная, будто она что-то «понимает» про этих незнакомых людей. Он называл это «проективным запоем» («Ну пойми, это просто твои проекции, ты ничего не угадываешь, ты делаешь это все просто потому, что нельзя проверить, как оно на самом деле!» «Ну пошли проверим же, ну давай я вот этого лысого клетчатого спрошу, я тебе клянусь, он содержит русскую блондинку, которая ни слова не говорит на его родном французском и еле-еле на английском, и уверен, что она его любит, ну клянусь тебе!» «Агата, не смей!» «Ну это две секунды, мне самой интересно!» «Агата, я уйду!..») Он представил себе тогда, лежа в ночи с ноющим от паники животом, как вместо нормального Гонконга у него будет бесконечная Агатина проективная трескотня, и разговоры о папе, и вопросы о его, Энди, жизни, и вдруг подумал, каким наслаждением было бы не сесть завтра

²⁶ Израильское общество защиты животных.

в самолет, что-то соврать, остаться в своей норке, лежать себе тихим зайчиком. В пять утра он сел в самолет и через двенадцать часов встретил в гостинице какую-то совершенно поразительную Агату Петровски – тихую, мягкую, прозрачную и, как позже выяснилось, внезапно беременную. Они гуляли и нежничали, и ели немыслимые вещи, и покупали какие-то непонятные глупости в невообразимых лавках, и он показывал ей небоскребы и навесные мосты, и вдруг вечером, в Сохо, куда они, как идиоты, пришли не просто сытыми, а объевшимися, из Агаты Петровски полезла Агата Петровски, и эта Агата Петровски сказала ему, что у нее есть мечта, давным-давно – проходя мимо людей, которые едят суши, невозмутимо взять одну сушину с подставки, съесть и пойти дальше: «Понимаешь, это эксперимент про собственность, это... Ну что они сделают?» «Агата, ты шутишь». «Вот знаешь, если ты называешь меня по имени, это не значит, что ты сердисься, а значит, что ты напуган». «Агата!!!» – и тут она это сделала. Ну, как «сделала» – и тут она взяла сушину со столика, за которым сидела молодая местная пара и круглая суровая старушка, и рванула бегом, волоча Энди за собой, и они пробежали, наверное, два квартала, у него сжимался и болел от ужаса желудок, и все это время дура Агата Петровски держала украденное перед собой, вытянув руку и этой же рукой расталкивая прохожих. Они остановились под какой-то глухой стеной, задыхаясь, и он вдруг понял, что сестра совсем не смеется, а как-то люто напугана, и сказал ей: «Брось», – а она сказала: «Мы должны это съесть», – пересохшим голосом, с которым не спорят, и Энди почему-то первым открыл рот; она сунула туда то смятое и раздавленное, на что он не готов был лишний раз посмотреть, и он зажмурившись куснул, и тут же проглотил, и уже тогда понял, что это было, – мясо, он съел мяса, а она в омерзении выкинула остаток, и разрыдалась, и прижалась к нему, и он обнимал ее, снедаемый тошнотой и бешенством, – и вот сейчас опять лежит в постели ровно с тем чувством, с которым лежал ночью перед вылетом в Гонконг, хотя ему совершенно не светит увидеть Агату Петровски, или даже получить мейл от Агаты Петровски, или даже получить фейсбучный лайк от Агаты Петровски, – потому что чувствует, что настали скоромные дни, плохие, скоромные дни, в которые он еще не раз оскоромится, и не мяском – благо поди сейчас найди мяско, все пайки скорее вегетарианские, чем нет, и вот он уже скоромится, уже испытывает по этому поводу немножко гнусное удовлетворение, – а всем, всем, что лезет из него и не так еще полезет, и он припомнит еще, как лезло черное и безжалостное из Агаты Петровски, и как бесило его, и чувствует почему-то, что полезет и не такое, а что – непонятно, и вспоминает еще, как Агата Петровски сказала, когда либеральная общественность дружно, громко и жестоко презирала в фейсбуке кого-то из своих же, оскоромившегося участием в передаче на Первом канале в путинские времена: «Война портит всех, а тех, кто против войны, – больше всего. Им легко казаться себе хорошими, а это яд». Энди, Андрей Сергеевич Петровски, очень старающийся быть хорошим человеком, лежит и смертельно боится оскоромиться, лежит и понимает, что это гордыня, гордыня.

12. Стена

Три недели войны – что пытались сделать за три недели войны, еще до асона?

Пытались ввести в Израиль международные войска: начинался коклюш в войсках, начинались ветрянка и свинка, корь и скарлатина, детские болезни косили американские, французские, австралийские войска, и не получалось ввести в Израиль войска. Пытались ввезти гумпомощь: портилась гумпомощь, подмокала и загнивала, рассыпалась и ссыхалась гумпомощь, и не получалось ввезти гумпомощь.

Пытались сбрасывать оружие с вертолетов: глохли еще на земле моторы вертолетов, давали трещину лопасти на подлете к воздушной границе, нарушалась балансировка винтовой системы, заедали двери кабин, и не получалось сделать ничего с вертолета.

Все это было смертельно страшно и смертельно красиво.

13. Длинный, короткий

Я слышал тут, как две землеройки говорили друг с другом – для понта переходили пару раз на человеческий, такие подростки, рисовались перед лопающей что-то и безразличной к ним землеройной малышней, – говорили о каком-то несделанном деле: «Будет еще завтра, еще много раз завтра». Я помню, как однажды спросил Ерему – до войны, до всего, – кажется, это был еще тиронут, я спросил: «Как ты думаешь, а если все-таки ядерная бомба – то все, нам пиздец?» (Это с вами говорит сейчас нарратор «Райка», если что; меня уже нет, а тогда я еще был.) Ерема, который знал все про все назло своему папе, не знавшему ничего ни про что, но телеведущему всем про все, сообщил, что это «немножко философский вопрос», достал из китбека свой затрюханный блокнот и начал чертить, как обычно: вот, говорит, ось «время», а вот ось «люди», а вот тебе функция: весь вопрос в том, сколько времени будет длиться пиздец. Я читал, что во время короткого, но очень страшного пиздеца можно спасти больше людей, чем во время длинного, но не очень страшного пиздеца, а ядерная война – это на самом деле длинный пиздец, потому что бабах-то один, а пиздеца-то после него много, так что скорее всего длинный пиздец потом убьет больше людей, чем бабах в начале. За четыре дня до асона я вдруг вспомнил эту историю по дурацкой причине: если я выживу, подумал я, за спиной у меня останется ровно такая траектория, ровно такая длинная пологая кривая, какая была нарисована у Еремы в его затрюханном блокноте. Я сказал себе на всякий случай, что не выживу, как обычно говорил себе во всех ситуациях, в которых можно было не выжить (я тогда выжил). Я стоял какой-то подбитой кикиморой – да ни хуя я не стоял, я не то ползал, не то прыгал, спина разламывалась у меня, в грудь упирался сраный автомат, который было непонятно, как взять так, чтобы него не калечить о приклад, а передо мной были какие-то немыслимые, шелковистые, длинные, тонкие ноги, и слева от меня были какие-то немыслимые, шелковистые, длинные, тонкие ноги, и везде были ноги, и я боялся этих ног не меньше, чем снайпера, потому что понимал, что если через секунду копыто опустится, например, мне на руку, то пизда моей руке, и я молился этом козам (антилопам, антилопам), я внутри себя бесконечно повторял: «Козочки, козочки, ну пожалуйста, козочки, козочки, козочки, помогите мне, козочки, козочки, козочки», – а они волнами бились об стену загона, как будто надеялись ее снести и вырваться, и я ползал среди них, стараясь попасть в эту волну, – одна из них, с пулей в горле, рухнула прямо на меня, и я, кажется, заорал вслух: «Козочки, козочки, ну пожалуйста, козочки, помогите мне!!!» Где-то за спиной у меня лежал Ерема, когда он упал и сразу умер, я немедленно заплакал, я думаю, я не пополз бы прятаться среди этих прекрасных страшных ног, работай у меня хоть четверть мозга, но я заплакал и пополз из-за козьего домика, сквозь который снайпер лупил по нам с моим Еремой, как сквозь картонную коробочку, в сторону бьющегося об ограду, задыхающегося от ужаса стада, и впереди у меня была длинная-длинная кривая, сначала резко влево, потом круто вправо, потом прямо всего ничего, там метров двести до каменной коробки – до каменного строения, в котором жил жираф, до пуле-не-про-би-ва-е-мо-го места, я, наверное, не переживу эти двести метров, разве что козочки, козочки; новую очередь выдали нам с козочками, одна упала вперед, подогнув коленки, как игрушечная дурацкая коровка, которой нажали на доньшко подставки, и закричала ровно тем голосом, которым Адам Бар-Лев кричит, когда... а еще одна козочка запрокинула голову и стала так захлебываться собственной кровью, будто пыталась напиться из душа; копытом меня хорошо двинули по хребту, и от этой ослепительной боли я заорал и выстрелил очередь в замок загона. И понеслось. Я помню, что пытался по дурацки хвататься то за одну шкуру, то за другой загривок, а потом просто закрыл глаза, орал и бежал, а они орал и падали, мы орал и неслись, и неслись, конечно, не так и не туда, неслись прямо на прорванную, обожженную жирафью ограду, за которой зиял ров, и я вдруг захохотал на бегу, потому что внезапно понял,

насколько смерть от пули легче и лучше смерти от копыт, и я сказал себе, что не выживу, до рва оставался метр, и тут они полетели, мои козочки, а я сжался и покатился, вдавливая в себя ебанный автомат, покатился, с воем долбясь спиной и животом о камни, а потом я лежал и смотрел, как они летят надо мной. Мне показалось, что они летят долго-долго, мои козочки, мои красавицы, повисают надо рвом и летят-летят, и пузики у них такие белые-белые с черною каемочкой, такие идеально приглаженные, и шерстка завернута узором, и у каждой – своим, вот одна на меня упала, а вот другая. Когда через двести двадцать тысяч часов мне станет по-настоящему (по-настоящему) безразлично, выживу я все-таки или нет, и я полезу наверх и огляжусь, я увижу, что вытоптанная нами трава и поломанные кусты, развороченные оградки и покалеченные таблички – это идеальная прямая от мертвого Еремы к живому мне, от большого пиздеца к маленькому пиздецочку, и по этой прямой разложены мои козочки; и я пройду и каждую из них поглажу, а некоторых добыю.

14. Мекадем²⁷

Это израильское лето, тугоплавкий израильский апрель, и они пока не знают, что из-за асона исчезла смена времен года – и не узнают, понятное дело, очень долго, до ноября, да и в ноябре скорее заподозрят, чем поймут толком, – но мы-то знаем, как говорил один печальный книжный персонаж, мы-то знаем.

Плюс тридцать два, вибрирует воздух, «я хочу сказать, что велосипед не едет». «Что значит „не едет“, Юлик?» «Я хочу сказать, что при провороте колес не происходит сцепления шины с поверхностью и конструкция не смещается в пространстве». «Там что, скользко в смысле?! Скажи по-человечески!» (Илья Артельман прекрасный отец, но не каменный же, не железный.) «Я хочу сказать – мне кажется, что между нами не происходит полноценный акт коммуникации с передачей информации». Аыыыыы.

Аутист Юлик Артельман прав – он всегда прав: велосипед не едет и ни у кого не едет, потому что ночью радужная пленка, которой теперь покрыто все на свете, намочла от росы, и это, оказывается, делает ее скользкой; отец Юлика Артельмана, Илья Артельман, идет наружу, ведя велосипед в поводу, – колеса проворачиваются, велосипед скользит, сам Илья Артельман скользит; там, где была русская сырная лавка, а теперь большая полая дыра, как от вырванного зуба, сидят два кота и смотрят на него тяжелыми маслянистыми глазами. Илья Артельман скользит обратно. Боженька, твоя воля, все страдают от отсутствия связи, а только Илья Артельман сильнее всех страдает от отсутствия связи – во-первых, он нежный, а во-вторых, пока была связь, Юлик Артельман писал письма своему второму папочке в Москву, и это занимало его достаточно, чтобы он почти не добывался до Ильи Артельмана. Илья Артельман, конечно, эти письма читал, истекая сладким мстительным сиропом (диалектическое противоречие: пароль – это то, что нельзя разгадать, и то, что нельзя забыть; короче, beautiful42mind): он представлял себе, как бывшего супруга, Михаэля Артельмана, раскатывало в говно от сыновнего безжалостного и страшного анализа (и справедлиивого!) его сраных либеральных колонок с отважными обличениями сраных либеральных же ценностей

(«Дорогой папа. У меня все хорошо. Я хочу сказать, что к твоей колонке „С комментариями автора: Косточка“ от 07/03/20 у меня есть ряд важных комментариев.

Комментарий 1. Я проанализирую фразу „У Ани с Аленой хватает поводов для того, чтобы официальная регистрация брака оказалась скорее головной болью, чем чистым счастьем, но эти поводы бледнеют перед все тем же доводом Хунта кинула либералам кость“, из-за которого в Четвертом загсе нет никого, кроме турецких граждан с блондинками и неосмотрительно влюбившихся во время московской командировки позднесоветских израильтян“.

Пункт А. Вместо слова „повод“ необходимо использовать слово „причина“, поскольку...»)

– мвахахахаха, Мишенька, это тебе за все твое злобучее доставалово в течение двенадцати лет насчет состава каждой половой тряпки и гигроскопических свойств каждой кухонной губки, думает Илья Артельман, и ему кажется, что только из-за злорадства Мишины тексты так намертво въедаются ему в мозг, и никогда не признается себе, что магия-то с годами никуда не делась, что тексты эти – брюзжащие, злобучие, едкие – просто трудно выкинуть из

²⁷ Коэффициент (шпр.).

головы. О, блажен ты, аутист Юлик Артельман, в отличие от своего пухлого чувствительного отца, для тебя что проанализировано, то выкинуто, а что не анализируется, то просто удаляется из видимой картины мира; Илья Артельман хорошо помнит, как однажды приехал забирать Юлика Артельмана с работы, Илья Артельман и сам работал тут когда-то, у него есть пропуск по старой памяти – так вот, он прошел на офисную кухню за чаем и обнаружил там подхихкивающих Юлькиных коллег: есть, оказывается, такое офисное развлечение – спрашивать Юлика Артельмана, для чего нужны его обсчеты. Так Илья Артельман узнал, что Авнер Сургут очищает для Юлика Артельмана каждую рабочую задачу «до косточки», то есть до голой бигдатовской необходимости, ничего человеческого не оставляя, чтобы гениального аутиста Юлика Артельмана не сбивать лишними подробностями. «Юлик, для чего ты рассчитываешь коэффициент оттока?» «Я не понимаю вопрос». «Ну это отток чего откуда?» «Я рассчитываю отток элементов с интегрированным мекадемом „дельта“ ниже 0,18 из общего массива элементов». Юлик Артельман рассчитывает коэффициент смертей среди гражданского населения в случае широкомасштабного природного катаклизма (ах вы козлики малолетние, перед вами человек без допуска чайным пакетиком размахивает, а вы пиздите – и сейчас, припомнив этот сюжет, Илья Артельман злорадно думает: что, плющит вас теперь с вашими мекадемами? Природный катаклизм они рассчитывали, смешные такие; вот и засуньте теперь себе свою дельту в банку с пайковым сублимьясом). Юлику Артельману эти подробности не нужны, Авнер Сургут все Юликовы задачи переводит на голый профжаргон и другим тоже запрещает при Юлике Артельмане обсуждать, что у нас тут рассчитывается, Юлика Артельмана это расстроит, Юлика Артельмана это собьет. Юлика Артельмана собьет тот факт, что велосипед не едет, потому что Юлик по субботам с 7:00 до 7:45 утра ездит на велосипеде, Юлик Артельман по субботам с 7:45 до 7:55 моется, Юлик Артельман по субботам с 7:55 и до самого сраного упора ебет, ебет, ебет мозг своему несчастному отцу, потому что Юлику Артельману пиздец, пиздец, пиздец, потому что все не так, все неправильно, все не вовремя, все не на своем месте, и не едет велосипед, не едет велосипед, не едет ебанный велосипед, Илья Артельман проходит с велосипедом вверх до калитки двадцать шагов, велосипед скользит, как по маслу, Илья Артельман проходит с велосипедом вниз до подъезда двадцать шагов и пытается поставить велосипед у стенки, велосипед съезжает вниз и норовит прилечь, Илья Артельман и сам бы прилег, но у Юлика Артельмана не едет ебанный велосипед, Юлик уже дергает коленкой (и стоит, заметим, уперев руки в бока, пока отец бьется с ебанным велосипедом), 7:03.

Илья Артельман (*бодрым голосом*): Ну что, Юлик, у нас тут какое базовое противоречие?

Юлик Артельман дергает коленом – дыг-дыг, дыг-дыг, дыг-дыг, дыг-дыг, – и глаза его потихоньку делаются прозрачными, словно у карпа; бедный Илья Артельман – кажется, сейчас достанется бедному Илье.

Илья Артельман (*очень бодрым голосом*): Базовое противоречие у нас, Юличек, такое: велосипед не едет, но надо ехать на велосипеде.

Дыг-дыг, дыг-дыг, дыг-дыг, Илья Артельман вдруг думает, что стеклянные глаза бывают только у мертвых карпов, а живой карп, может быть, очень осмысленно смотрит, а еще вдруг думает смешное: хорошо, что Юлик Артельман в велосипедном шлеме, вот свезло так свезло.

Илья Артельман (*взвизгивая от бодрости*): Ну, как будем решать: во времени, в структуре или в воздействиях?

Во времени небось хуй решишь (этого Илья Артельман не говорит), потому что ничего мы не знаем теперь о времени, про воздействия помолчим – а значит, в структурах; вот интересно, Юличек, бывают зимние шины для велосипеда – интересно же, да? Папа поищет тебе зимние шины для велосипеда (где, блядь?), возможно, их сцепление... Бум, бум, бум, бум, бум. Прежде чем броситься оттащить сына от стенки, Илья Артельман несколько секунд замороженно смотрит, как светло-желтая пыль поднимается вокруг долбящегося в стену черного шлема, переливаясь радужными разводами в душном, липком, неверном новом воздухе. Сейчас Илья Артельман бросится к сыну и сожмет его мертвой хваткой, и начнет оттащить, и привычно выбирать удобный угол для падения, и готовиться падать, и досадовать, что только прошли старые синяки, только зажили прежние ссадины, и сверху на них с Юликом упадет нестоячий велосипед, и Юлик Артельман завоет, и они полежат так немножко, и Илья Артельман подумает, что так честно, так намертво прижавшись он за всю свою жизнь лежал только с Мишей и только в ту ночь, когда они вернулись из мисрад а-пним²⁸ со штампами в паспортах, и что в тот момент он, Илья Артельман, думал: «Все это безнадежно, вся эта эфемерная, слепленная из говна и палок (особенно из палок) конструкция семьи совершенно безнадежна, она никуда не поедет», – и сейчас Илья Артельман тоже думает: «Все это безнадежно, все это безнадежно», – и пока они с Юликом Артельманом будут вот так лежать, Юлик Артельман будет биться шлемом о плитки ведущей к подъезду тропы, и над головами у Ильи с Юликом Артельманом будет изумительная радужная красота, и коты, которые, оказывается, все это время шли за Ильей Артельманом, усядутся смотреть на эту красоту.

Во всем происходящем сейчас вообще, заметим, очень много красоты, и нет ли здесь какого базового противоречия?

²⁸ Министерство внутренних дел (*ивр.*).

15. Мимими

Вот, предположим, кому-нибудь приходит в голову повторить эксперимент Тюдор-Джонсона за 1939 год, но, понятным образом, with a twist. Если это сейчас и может произойти, то в Москве (под «сейчас» подразумевается вот это вот все): Израилю только экспериментов и не хватает, а в Москве, можно не сомневаться, кто-то ушлый уже сварганил на базе Сколково-М1 какой-нибудь «Новейший институт исследований речи и коммуникаций», передовой-передовой (и именно в М1, а не в позорном старом Сколково, который теперь помесь «Горбушки» с коворкингом). Дальше делается так: выбираем двенадцать молодых исследователей, про которых нам совершенно точно известно, что эти никакой кровищи и говнищи не боятся, – скажем, мальчик по фамилии Поярник до асона работал в Институте клинической неврологии, проводил исследования по болевому синдрому при нейрохирургических вмешательствах, от него лаборанты уходили на второй день, воя не выдерживали. Ну вот, шесть молодых исследователей у нас будут основная группа, шесть контрольная, гендер тоже ровненько распределяем. Собираем по улицам бадшабов, якобы «участников эксперимента», и сообщаем группе исследователей А, что вот этих бадшабчиков, коряво говорящих, мы за качество речи хвалим, а вот этих, нормально говорящих, мы за качество речи ругаем, – ну и посмотрим, как оно будет; а контрольная группа исследователей, группа Б, у нас и правда занимается с «участниками эксперимента» какой-нибудь логотерапией – это неважно, пусть сами придумают (что-то тут логически не очень, как-то бы лучше сформулировать тут, что делает контрольная группа Б? Но сейчас, откровенно говоря, вообще everything goes, все делается очень приблизительно и торопливо, все эйфорически захлебываются в море новых исследовательских возможностей, тут не до педантизма, всех прет). Официально пишем: *«Исследование ставило целью (так можно писать вообще? ладно, поехали) подтвердить гипотезу о том, что в новых условиях применение классических методов исследования входит в этический конфликт с установками исследователей, прежде осуществлявших (как бы тут сказать? „пиздец жесткие“? „вполне безжалостные“?)... эээ... прежде осуществлявших исследования, требующие жесткого воздействия на испытуемых»* – слушайте, это звучит, как буллит. О, давайте так: *«Исследование позволило выявить трудности в применении классических методов работы для достижения верифицируемых и воспроизводимых экспериментальных результатов»*. Это все равно буллит, но хотя бы с применением русского языка. Дальше все по Тюдор, 1939: наши юные мясники считают, что воспроизводят тот самый «Чудовищный эксперимент», и теперь все заики и тормозяки от их похвал заговорят хорошо, а сладкоголосые и велеречивые от их руганий и понуканий нарушатся, испортятся и вообще станут несчастны все по-разному. Юные мясники ликуют и полны орехов: им сказано, что все это очень секретно, все это этически сомнительно, и только в нашем новейшем институте ради будущего науки и т. п. Ну, поехали: ежедневные 20-минутные встречи с «участниками» один на один, заготовленные коммуникационные сценарии: «Вы очень хорошо говорите, вас легко понимать. Вам особенно хорошо даются нёбные гласные (гы-гы). Удивительный прогресс с прошлой недели» («Д-д-д-да!»); а вот и второй состав: «Вас практически невозможно понять. Вы говорите крайне неразборчиво. У вас явно начинается заикание. Чем говорить так, как вы, лучше вообще не говорить», – и так далее, по классике. И вот на третий день мы получаем в группе А две истерики (ну ладно, это преувеличение, один скандал и одну истерику) и три (один попался молчаливый) докладных записки с просьбой освободить подателя сего от взятых на себя обязательств по ведению эксперимента в виду «несовместимости исследования с их личными морально-этическими принципами». Дальше надо прямо цитировать, это своими словами не расскажешь:

1. «Мелисса, пони, ж., 4 года, гр. IV, стала проявлять сильнейшие признаки беспокойства и на шестнадцатой минуте встречи отказалась отвечать на вопросы исследователей. Вместо этого она начала повторять один и тот же вопрос, последовательно обращаясь к обоим исследователям: „Я плохая, да? Я плохая? Что я сделала? Я плохая?“» (Цит. по: Гартемьяненко Н. Ф., докладная записка);

2. «Санни, спаниель, ж., гр. IV после реплики „Если ты будешь заикаться, тебя будут считать глупым и неинтересным“ отказался поворачиваться мордой к исследователям и в ответ на дальнейшие реплики и попытки вернуться к протоколу исследования сидел с закрытыми глазами и прикрывал пасть лапой»; (Цит. по: Кареев М. Р., заявление об увольнении по собственному желанию);

3. «Андроний, лемур, м., гр. IV, в ответ на каждое замечание исследователей, предусмотренное сценарием, начинал прилагать невероятные усилия для исправления своих „ошибок“ и не давал исследователям возможности перейти к следующему пункту сценария, не получив от них похвалу, полностью нарушавшую базовые установки эксперимента... При попытке одного из исследователей настаивать на том, что у Андрония „как будто какашки во рту“, участник приблизился к исследователю, взял его за штанину и не отпускал, широко разинув рот и зажмурил глаза. При попытках исследователя настаивать на том, что речь Андрония крайне неразборчива, Андроний расплакался» (Цит. по: Кареев М. Р., заявление об увольнении по собственному желанию).

Тут вообще-то надо сделать ремарку в сторону: хорошо бы нам составить какую-то, что ли, таблицу соответствий, это было бы удобно – есть вообще впечатление, что наши новые, как это принято теперь говорить, «носители речи» ведут себя в ситуации негативной внешней оценки авторитетной фигурой вполне узнаваемым образом, как дети лет двух; ну, или трех-четырех (добавим: «в т. ч. в случаях, когда „испытываемый“ реагировал на оценочное суждение крайне агрессивно», см. докл. записки Симаи, Яценко

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.